

РОМАН-ФАНТАЗИЯ В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ

ПРЕДИСЛОВИЕ

События, которым посвящен этот цикл из четырех рассказов, фактически превратившийся в роман, охватывают период с начала семидесятых до конца восьмидесятых годов, то есть, примерно, с апогея застоя до начала перестройки. Толчком к его написанию послужили заметки, которые дал мне почитать мой приятель, Дмитрий Петрович - сотрудник одного из московских научно-исследовательских институтов. Посвящены они были главным образом застольной болтовне, вдохновляемой человеком, которого, как я потом выяснил, половина интеллигентской Москвы считала своим другом. Этот занятный человек, эрудированный и весьма неглупый, не оставил никакого следа ни в науке, ни в литературе, ни, уж тем более, в политике. Но в тех компаниях, где он появлялся, и, которые довольно легко менял, всегда производил большое впечатление, так что Дмитрий Петрович был не единственный (в чем читатель скоро убедится), кто попытался запечатлеть образ этого московского краснобаю.

Я ловлю себя на том, что говорю о нем в прошедшем времени - это неверно. Дело в том, что многие считали, что первая волна еврейской эмиграции смывает его, поскольку он имел все формальные основания на выезд. Однако этого не произошло: "dining rooms", которыми в московских квартирах, как правило являются кухни, и неприхотливый подмосковный ландшафт оказались ему значительно больше по душе, чем величественные пустыни и плоскогорья его исторической родины... Просто, за последние десять лет я как-то потерял его из виду, может быть, потому что постарел, и круг моих знакомств сузился.

Но вернусь к запискам Дмитрия Петровича. Они попались мне где-то в середине семидесятых годов, показались любопытными, и я спросил автора, почему бы ему ни попытаться опубликовать их. (Ведь это было время, когда русская интеллигенция запоем проглатывала повести и рассказы, появлявшиеся в журналах, а не ограничивалась "Московским Комсомольцем", которого "любят немногие, но читают все".) Дмитрий Петрович отмахнулся, сказав: "Кому это интересно? Кто это опубликует? И какой из меня писатель?" Возможно, во всем этом и была доля истины, и все же мне показалось, что заметки передают какие-то неповторимые приметы времени, а в руке автора есть что-то Богом данное... По поводу того: кто опубликует? Наверное, он был прав - опубликовать это в то время было сложно. И все же, как это досадно и как типично для русского человека: потратить время, проявить способности, ничего не довести до конца, отмахнуться и утешить себя таким русским вариантом Экклезиаста: "А кому это все к черту нужно?!"

Короче говоря, Дмитрий Петрович передал мне свои заметки с правом делать с ними все что угодно, даже не упоминая его имени. Вернее всего, что я ничего делать бы и не стал, если бы, гуляя по Подмосковию в одной прогулочной группе, не познакомился с этим "нашим общим другом", так что история, рассказанная Дмитрием Петровичем, нашла свое, если не развитие, то, во всяком случае, продолжение. Я написал рассказ об этой группе, и мне пришлось в голову объединить его с заметками Дмитрия Петровича, поскольку речь шла примерно об одном и том же круге людей, перебравшихся из московской квартиры на подмосковную природу.

Конечно, я подредактировал записки своего приятеля, несколько их сократив. Дело в том, что в той компании, которую он описывал, значительное место занимал молодой человек весьма привлекательной наружности, заводивший бесконечные романы. Мне показалось, что Дмитрий Петрович - образцовый семьянин - в тайне несколько завидовал этому *bon vivant*'у и излишне смаковал его похождения. (Кстати, сам Дмитрий Петрович так и озаглавил свои заметки "Петины похождения".)

В той же прогулочной группе я познакомился еще с одним несостоявшимся писателем, который, несколькими годами позднее, передал мне записки одного пожилого человека, относящиеся примерно к тому же времени - середине семидесятых. Сам он, находя записки весьма талантливыми, не пытался их публиковать по деликатным причинам, которые читатель конечно поймет. Эти записки продолжили одну из "линий" прогулочной группы и таким образом примкнули к двум предыдущим рассказам.

Тогда у меня появился соблазн написать еще один рассказ, чтобы предать всему этому повествованию некую законченность.

ПЕТИНЫ ПОХОЖДЕНИЯ

1.

Я защитил кандидатскую диссертацию, и так как в научно-исследовательском институте, в котором работал, никаких перспектив на повышение не намечалось, то перешел в другой институт, где мне предложили ставку старшего научного сотрудника. С людьми я схожусь медленно, и потому прошло, наверное, не меньше нескольких недель, пока на новой работе у меня появились первые знакомства. Не помню сейчас точно, при каких обстоятельствах я познакомился с Олегом Моисеевичем Бареном, кажется, он зашел в мою комнату спросить, нет ли у меня какой-то книжки.

Олег Моисеевич с виду был весьма невзрачен: роста среднего, худ, глаза немного навязывают, подслеповат и посему в очках, волосенки жиденькие... В общем, внешностью своей он никак не мог привлечь к себе внимание, а если и привлекал, то какой-то исключительной небрежностью своего облика: штаны на нем вечно висели, и он их то и дело подтягивал, верхняя пуговица на рубашке обязательно была расстегнута, галстук сдвинут набок, ботинки стоптанные, нечищенные; я - не модник, но в сравнении с Олегом Моисеевичем я выглядел просо франтом. Но была в этой расхлябанной фигуре, в этом небрежно одетом человеке какая-то... игра, что ль? Черт его знает. Как-то он умел так делать бровями, так поджимать губы, что вам совершенно ясно становилось, что все, что вы ему говорите, - вздор, и все, что собираетесь сказать, - тоже вздор, и, тем не менее, он вас будет слушать с удовольствием, поскольку вы ему симпатичны, и сам охотно с вами поболтает о том о сем, потому что главное в жизни, как он однажды сказал, - это "суметь себя занять", а уж чем и как - это на ваше усмотрение.

На работе про него говорили, что он подавал когда-то очень большие надежды, но из-за своей необычайной лени (которую, кстати говоря, по-моему, сильно преувеличивали) так до 40 лет никуда и не продвинулся (а он, кажется, никуда особенно и не стремился продвигаться). Был самый обыкновенный сотрудник, каких сотни во всех научно-исследовательских учреждениях: выполнял плановые темы, писал или собирался писать докторскую диссертацию, в общем, ничем не отличался от многих других.

Но "в чем он истинный был гений", так это в искусстве трепотни. О! Здесь я не встречал ему равных. И как мил был, как театрален, когда, развалившись на стуле, начинал рассуждать о вещах, о которых я, с моим скудным опытом, не имел ни малейшего представления. Оратором его никак нельзя было назвать: начиная фразу, он вечно э-кал, мэ-кал, тянул слова, путался в построении предложений, иногда даже самых

элементарных, вставлял какие-то бессмысленные словечки, сам себя перебивал... Но и в этом был какой-то артистизм, какая-то смесь серьезности и игры, так что никогда нельзя было точно понять, верит ли он в то, что говорит, или просто так - дурака валяет.

Впрочем, в конце концов, он всегда умел закончить любое свое рассуждение так, что получалось очень даже мило и гладко.

Барен был человек сложный - человек "внутренне противоречивый" сказал бы я, если бы хоть примерно знал, что под этим подразумевается, или хоть бы раз встретил человека, про которого можно было сказать что-нибудь другое... Не знаю, был ли он человек хороший, но умный - несомненно. И еще, он обладал способностью иногда так просто посмотреть на вещи, что становилось ясно - вся эта кутерьма и все эти переживания ровным счетом ничего не стоят. "И только-то, - говорил он, выслушав мою сбивчивую, взволнованную речь. - Да плюньте вы..."

Впрочем, все эти его качества я узнал позднее, после довольно длительного с ним знакомства, а не тогда, когда он в первый раз зашел в мою комнату...

2.

В тот раз, о котором хочу рассказать, я стоял на лестничной площадке, поджидая лифт, застрявший где-то на верхних этажах; задумался и не заметил, как ко мне подошел Олег Моисеевич и взял меня под руку. Рядом с ним стоял молодой человек высокого роста, сразу же поразивший меня своей исключительно привлекательной внешностью. У него были роскошные откинутые назад темно-русые волосы, серые глаза со смешинкой - беззаботные и в то же время ласковые - и прелестная обворожительная улыбка. Во всем облике было какое-то сочетание взрослого мужчины и маленького мальчика, который кокетничает, сознавая, что хорош собой и что все кругом обращают на него внимание. Ах, злые языки, которые нас окружают! Сколько раз потом я слышал, что у него внешность киноактера, глупые глаза, что улыбка его стандартна и ничего не выражает. На себя бы посмотрели.

- Сперанский Петр Андреевич, - представился молодой человек, крепко пожимая мне руку и изящно наклоняясь при этом.

- Петенька - первый Дон Жуан Москвы и Московской области, - отрекомендовал его Олег Моисеевич. - Готовится сейчас к международному турниру в этом виде спорта. Слабоват в теории. Недопонимание некоторых, э-э-э, нравственных аспектов прелюбодеяния. Но что касается практики, тут нет ему равных.

- Так же, как вам нет равных в трепотне, - весело вставил Петя.

- Так же, как мне нет равных в трепотне! - подхватил Барен.

- Вы подумайте, милый Дмитрий Петрович, до чего вам все же повезло: встретить сразу двух людей, которым в чем-то нету равных. Ведь это нечасто бывает. А?

Я развел руками в знак того, что такое действительно случается нечасто. В это время лифт, наконец, спустился вниз, я вошел в него, мы с Петей улыбнулись друг другу, Барен помахал мне, и мы расстались.

3.

Однажды, после работы, мы втроем вышли из института, и у нас завязался какой-то разговор, прерывать который не хотелось, а так как я жил в трех минутах ходьбы, то и предложил зайти ко мне. Петя и Барен согласились, и мы направились к моему дому. Сразу же, как только они согласились, я подумал, что поступил необдуманно и затевать всего этого не следовало: жена, наверное, только что вернулась с работы усталая и

сердитая, детей надо загонять домой, и заставлять старшего садиться за уроки. Но главное даже не это, а то, что гости у нас в доме вообще бывали чрезвычайно редко и сама мысль об этой непривычной ситуации настолько вывела меня из равновесия, что я перестал участвовать в разговоре с приятелями и начал мысленно разговаривать сам с собой, досадуя и попрекая себя за несуразность и отсутствие внутреннего совершенства. "А, да пусть все будет, как будет", - решил я, наконец, как будто речь и в самом деле шла о каком-то серьезном событии.

Открыв дверь, я по доносившимся голосам сразу же понял, что дети уже дома и жена тоже дома и заставляет их то ли мыть руки, то ли не разбрасывать одежду, что точно - я не расслышал, но у меня вдруг появилось такое ощущение, что войди вот я так через десять или через сто лет, все будет совершенно так же: то же покрикивание жены, те же капризы детей, как будто я приговорен всю жизнь видеть и слышать одно и то же, и песенка моя спета, и не видать мне никогда ни жизни беспечной, ни воли вольной.

И в этот раз, так же как и в тысячи других, перешагивая через порог дома, я перешагнул и через это ощущение, чтобы, войдя в свою квартиру - хочу я этого или нет - прожить очередной день, очередной вечер, и только приняв и прожив его до конца, почувствовать, что чем-то он все же отличается от других дней и вечеров; как будто какой-то художник, рисуя картину моей жизни, положил еще один почти незаметный мазок, или, может быть, что-то поправил в наброске, который сделал вчера, или, наконец, просто запутавшись и потеряв терпение, замазал какую-то неудавшуюся деталь...

Как бы там ни было, картина эта еще на один шаг продвинулась вперед к своему завершению... А что сделается с ней, когда она будет, наконец, закончена? "Ее выбросят в чулан, чтобы она никому не попадалась на глаза", - говорила моя усталость, когда измученный бездарно проведенным днем я поднимался по лестнице к себе домой. Но потом, отдохнув и прибодрившись, я начинал вдруг надеяться на какую-то иную, лучшую, участь, которая...

- Папа пришел, папа пришел! - услышал я голос младшего сына, и вся компания - Нина, Вася и Лева - появилась в передней и замерла от неожиданности, увидев со мной двух незнакомых.

- А у нас гости. Вот, познакомьтесь, пожалуйста, - приступил я к выполнению обязанностей хозяина.

- Извините нас, ради бога, за такое неожиданное вторжение, - выступил вперед Барен, и прямо с порога завел с моей женой разговор о том, как удобно я живу - так близко от работы - и как неудобно, что ему приходится ездить целых сорок пять минут, стал расспрашивать про детей и тут же что-то рассказывать про своего сына. Не ждал, пока его начнут развлекать, а сам, вовлекая в разговор остальных...

Я и потом замечал, что в его обществе всегда было необычайно легко, разговор шел сам собой, так что казалось - уйди он - и все будет идти так же. Ан нет, стоило ему отойти от какого-нибудь кружка собеседников - и разговор сразу расклеивался.

Другое дело - Петя. Ему и говорить-то ничего не надо было: он просто стоял и улыбался и этого было достаточно. Никто ведь не стал бы требовать от статуи в музее, чтобы она болтала с посетителями...

- Что же мы стоим в передней, - спохватилась жена. - Дима, приглашай гостей в столовую. Петя, пожалуйста, раздевайтесь...

Барен остановился в дверях комнаты, которая считалась моим кабинетом, и с интересом рассматривал ее.

- Э-э-э... Хм. Забавно... Вы знаете, даже если бы я совсем не знал вас, то, посмотрев на эту комнату, я, мне кажется, довольно точно смог бы себе вас представить, причем не просто представить, что здесь живет мужчина определенного круга, очень начитанный, а вполне конкретно увидеть даже некоторые стороны вашей личности, которые, может быть, вы сами не очень хорошо знаете... Занятно... Очень занятно...

Что уж такого занятного он во всем этом нашел, он не объяснил, но у меня осталось приятное ощущение значительности своей персоны, что не так часто со мной случалось. Мне было лестно слышать, что какие-то "стороны моей личности" отражаются в предметах, меня окружающих, и что у меня есть качества, может быть, мне самому неизвестные, которые делают меня человеком интересным и незаурядным.

- Нина э...

- Просто Нина.

- Просто Нина. Очень хорошо. Тогда я просто Олег.

Но никогда никто его Олегом не называл. Это настолько с ним не вязалось, что никому в голову не приходило его так называть. Разве что его жене. Но для нас он всегда оставался Олегом Моисеевичем Бареном, и это было так же естественно, как, скажем, и то, что никому бы не пришло в голову называть Петеньку Петром Андреевичем Сперанским. Петенька он был, и все тут.

Мы перешли в столовую, и дальше все продолжалось очень просто и мило: Барен болтал, Петя вспомнил, что по телевизору показывают футбол, попросил разрешения посмотреть и, пододвинув кресло, сразу же вписался в него так же, как вписывался в любую обстановку.

Воспользовавшись тем, что Олег Моисеевич изображал интерес к школьным успехам моего сына, я пошел на кухню к жене, спросить у нее, не обиделась ли она на то, что я привел гостей без предупреждения.

- Ну что ты, - ответила мне Нина. - Ты же знаешь, что я всегда люблю, когда к нам приходят твои друзья.

Ничего такого я не знал, но спорить, конечно, не стал и с облегчением вернулся в столовую, где в это время Петя пытался объяснить Барену, какие изменения этот матч внесет в турнирную таблицу, а мой сын пытался уличить Петю в незнании того, сколько очков у какой команды...

Потом мы загнали детей спать, а сами пили чай и болтали о чем-то так весело и непринужденно, что был уже двенадцатый час, когда Барен спохватился, что не предупредил жену, и они с Петей, выразив удовольствие по поводу визита и обещав непременно заходить опять, откланялись и ушли.

- Приятные люди, правда? - спросил я у Нины.

- Очень, очень милые, - ответила она мне. - Молодец, что пригласил.

И я видел, что она действительно довольна. Однако, к своему удивлению, я обнаружил, что мы с женой по-разному оцениваем новых знакомых. Для меня было совершенно очевидно: по-настоящему-то интересный человек - Барен, а Петя, хотя и очень мил, едва ли собой что-нибудь представляет.

- Ну, это как сказать, - капризно возразила жена, будто и в самом деле разбиралась в людях. - По-моему, он совсем не глупый. Мне, например, понравилось, как он рассказывал про этого вашего заведующего. А Барен твой - болтушка... А потом, уж очень страшненький. Но, в общем-то, конечно, тоже очень милый... А ты знаешь, Петя на меня так поглядывал...

- Да ну!

- Да, да, - и, проходя мимо, она поцеловала меня в макушку.

Я не стал разубеждать ее, хотя к тому времени уже достаточно хорошо знал, что Петя улыбается всем подряд, а уж дамам-то и тем более, и что я что-то не заметил, чтобы он "поглядывал" на нее как-то особенно. Как бы там ни было, у нас обоих вечер этот оставил самое приятное воспоминание, и после ухода гостей мы еще долго сидели на диване, делаясь разными замечаниями и наблюдениями над новыми знакомыми, и вспоминали, что сказал Петя и как Барен смешно экает, и я признался, как нервничал, когда пригласил их, и Нина сказала, что я "глупенький", и мы еще, долго смеялись и говорили о всяких пустяках, чего за последние годы между нами почти не бывало.

4.

После этого случая они стали довольно часто заходить к нам. Думаю, что Барену была дорога возможность вволю потрепаться, а так как на работе ему мешали, а дома жена заставляла заниматься какими-нибудь делами, то он и отводил душу у нас. Он был так непохож на меня, да и на всех остальных моих знакомых, что мне казалось, что от общения с ним я и сам меняюсь. Нина как-то сказала мне раздраженно: "Перестань, пожалуйста, подражать этому своему Барену, тебе это совершенно не идет". Я и вправду сам стал замечать, что в разговоре то и дело совершенно произвольно вставляю этикие игриво-шутливые "баренизмы".

Олегу Моисеевичу нужно было бы стать писателем или артистом, но не научным сотрудником, это уж точно. Что его понесло в науку? А, впрочем, это - ерунда. У него было столько же оснований сделаться научным сотрудником сколько и у меня. С той только разницей, что у меня не было никаких других способностей, и поэтому казалось, что я, как ученый, вполне на месте. То ли дело - Петя. Он был легкий человек, который всюду был на месте. Мог заниматься наукой, быть актером, кинорежиссером, тренером волейбольной команды...

В то время он почти неизменно состоял при Барене, что было несколько странно - слишком они были разные. И, тем не менее, союз их казался вполне естественным. По-видимому, для Олега Моисеевича Петенька был как бы воплощением непосредственного жизненного начала, чуждого раздвоенности и рефлексии. Что же касается Пети, ему, вероятно, было, все равно, где и с кем проводить время. А может быть, и не все равно, но, во всяком случае, бывать у нас дома ему явно нравилось.

Жена моя, хотя со временем и разобралась, что он не влюблен в нее, все равно продолжала относиться к нему в высшей степени благосклонно, а мой старший сын Вася только и ждал его прихода, чтобы заключать с ним пари - какая команда будет лидировать в чемпионате или что-нибудь в этом роде.

Петя был холост, или, вернее сказать, разведен; жил он самостоятельно в отдельной однокомнатной квартире, дома его никто не ждал, так что он часто мог позволить себе роскошь никуда не спешить. (Впрочем, надо отдать должное и ему и Барену - люди они были очень воспитанные и как только чувствовали, что могут быть в тягость, тут же откланивались и уходили.)

- Ты знаешь, - рассказывал мне Петя, - ведь я уже однажды испробовал эту радость (это о женитьбе), так что с меня на ближайшие годы вполне достаточно. Хотя, в общем-то, моя жена была очень милый человек, - он рассмеялся, - все считали, что мы - прекрасная пара. Но, - он стал морщиться, - у меня сразу же, как только мы поженились, возникло такое чувство, как будто я влип в какую-то неприятную историю. Ну, а потом, - он махнул рукой, - началось...

5.

О том, что "началось" потом, я был уже достаточно наслышан. И не только от Барена, большинство сотрудников института с удовольствием рассказывало эту знаменитую историю, со временем превратившуюся в легенду и ставшую реликвией нашего скромного учреждения. В нее посвящали всякого новичка, давая ему понять, что заведение, в котором ему предстоит работать, знало свои славные денечки...

Дело в том, что Петина жена тоже работала в нашем институте - только в другой лаборатории. Но даже если бы она работала в одной с ним лаборатории, то, я думаю, это

все равно не спасло бы положения. Так должно было произойти. Не мог он в тот период жизни, сразу же после студенческой скамьи, попав в научное учреждение, почувствовав самостоятельность и сделавшись центром внимания стольких дам, не мог он, повторяю, поступить иначе. Всякий бы на его месте поступил именно так. А Петя был не из тех людей, которые ищут в жизни свои пути. Все заводят дам на работе, и он завел.

- Но, Олег Моисеевич, - сказал я, - ведь всем известно, что у себя на работе романы заводите нельзя. - И я, по-моему, был очень доволен, что высказал такое мудрое суждение. - Где же их еще и заводите, как не у себя на работе, - ответил он мне. - Сидишь тут, делать нечего... Э-э-э, конечно, он поступил непредусмотрительно. Ну, да что поделаешь.

И действительно, поделать было ничего нельзя: книга Петиных походов была открыта, и он погрузился в этот увлекательный роман, забыв и о жене, и о работе, и о своих научных коллегах, которые в один прекрасный момент почти одновременно сделали одно и то же интересное открытие... Слухи поползли по всем шести этажам, обогащаясь новыми деталями и прогнозами. И только одна Петина жена долго оставалась будто в неведении - то ли действительно ничего не зная, то ли надеясь, что все как-то обойдется. И, может быть, все обошлось бы, если бы, прочтя одну главу, Петя отложил в сторону книгу. Или, скажем, еще и еще раз перечел бы эту главу. Но, увы, начав читать, он уже не мог оторваться: дочтя одну главу, он, почти не прерывая дыхания, принялся за следующую, и тут... действительно хватил через край. Мало ему было того, что в одном институте работали жена и любовница, он завел себе еще и невесту. Соблазнил молоденькую лаборантку, что-то ей наобещал... Кончилось все это тем, что жильцы из дома напротив увидели в окно, чем занимаются сотрудники института после работы и сообщили в дирекцию. Скандал вышел неимоверный! Вмешался и местком, и руководство партийной организации, и комсомол. Устроили собрание. В результате жене пришлось уйти из института, а потом она совсем от него ушла. Невесте открыли глаза, и она тоже ушла и вскоре вышла замуж.

Петя потом сам очень мило эту историю рассказывал. "Черт его знает, как это получилось, - говорил он, - в каждой из них, понимаешь, что-то свое было. А, в общем-то, это даже и к лучшему, что все как-то разрешилось, а то мне уж под конец совсем никакого житья не было". Какое ему еще житья нужно было? По-моему, такая распрекрасная была жизнь. Впрочем, во мне всегда жила черная зависть к Пете, я бы никогда ни на что такое не решился: замучился бы разными переживаниями. А Петя, хоть и говорил, что "житья не было", не думаю, чтобы особенно переживал... Сотрудники института, хоть публично и порицали его, особенно дамы, но в коридоре, встретив Петю, не могли не улыбнуться: такой грустный и потерянный вид у него был в то время. Мужчины же в большинстве просто завидовали ему: две из трех дам, говорят, были на редкость хорошенькие. Любовница-то еще и по сию пору у нас работает, и до сих пор видно, что очень была мила. Из всех трех невзрачная была только невеста. Но, видимо, и в ней "что-то было". Само собой разумеется, на достигнутом он не остановился, но после этой истории сфера его романтических интересов переместилась за пределы нашего учреждения. Не понятый в своем коллективе, он стал дарить благосклонность красавицам из соседских теремов, и это было тем более обидно, что в нашем собственном саду увядало так много прелестных цветов. Я думаю, девочки-лаборантки и молодые научные сотрудницы, томящиеся сначала в девичестве, а потом в замужестве, могли бы предъявить законный иск дирекции, оскорбившей и оттолкнувшей юного садовника, так преданно и бережно ухаживавшего за ними.

Впрочем, кажется, и впоследствии он все же, время от времени, делал исключения для них, отмечая своим прихотливым вкусом то одну, то другую... Так было и после моего прихода в Институт. И все же общее мнение твердо стояло на том, что Петя уже "не тот", что время, которое никого не щадит, не пощадило и этого дурака, "у которого в мозгу, дай бог, три извилины, да и те только бабами и набиты".

6.

И все-таки, дураком я бы его не назвал! Было в нем чувство юмора: замечания он иногда делал очень даже тонкие. Да, пожалуй, и легковесность-то его была в известной степени показной. Или, может быть, слово "показной" здесь не подходит. Ну... короче говоря, он так привык держаться, привык, чтобы его таким воспринимали.

Я думаю, что Барен играл здесь не последнюю роль. Олег Моисеевич все время как-то "подавал" Петю, все время делал его центром внимания, и Пете это, конечно, льстило, но стоило только ему попытаться выйти из намеченной для него роли, как Барен своими шуточками тут же ставил его на место. Я неоднократно был этому свидетелем и, признаюсь честно, наблюдение это составило один из предметов моей тайной гордости. Дело в том, что вообще-то я в людях разбираюсь поразительно плохо, а тут вдруг почувствовал, что разгадал какой-то механизм, связывающий моих знакомых. Я даже с Ниной поделился этим наблюдением, но поддержки в ней не нашел. С ее точки зрения все обстояло наоборот: Барен был беспардонный болтун и клоун, а Петя - умный, деликатный человек, который время от времени тонко над ним иронизировал. Но что-что, а уж способность моей жены разбираться в людях мне была хорошо известна...

А вот в чем Пете действительно нельзя было отказать, так это в том, что при всем своем разгульном образе жизни, воспитан он был все же очень хорошо. Многое шло здесь, видимо, от семьи. Мать его была совершенно очаровательная женщина! В молодости, кажется, актриса, а может быть, и не актриса, но явно имевшая какое-то отношение к театру. Отца своего Петя не помнил - родители разошлись очень рано, и воспитывался он в основном матерью и отчимом, который был какой-то кинорежиссер и вечно в разъездах. Петя называл его по имени - не то Лаврентий, не то Терентий - и дружил с ним, мать же свою просто боготворил. Мария Васильевна (так ее звали) относилась к нему нежно и достаточно иронично.

- Где Петя? - отвечала она по телефону. - Да кто же его знает, собак где-нибудь гоняет или за девочками бегает. Когда же мы его женим-то, наконец? А... пусть погуляет...

Петя, хотя и жил отдельно в однокомнатной квартире, которую ему купили, когда он "оперился", к матери навещался регулярно, и та была вполне в курсе всех его дел.

Подчас журила Петю, но больше подбадривала и успокаивала. Кто бы мог подумать: оказывается, оставляя очередную женщину, Петя каждый раз расстраивался (правда, ненадолго) и приходил к маме жаловаться на судьбу. У него было доброе сердце, и он искренне сочувствовал жертве. Мария Васильевна поила его чаем, отвлекала разговорами от мрачных мыслей, а потом вздыхала и говорила:

- Ох, уж эти мне романы, одни от них неприятности. Как хорошо, что у меня уже не будет больше романов. Налить тебе еще чайку? Не грусти, все наладится. Ну, что поделаешь, женщины всегда расстраиваются, когда их бросают, а как же ты хочешь? Если ты все это так переживаешь, то тебе надо романы заводить с куклами. Представляешь, как будет хорошо: с одной поиграешь, пока не надоест, потом положишь ее в коробку, другую достанешь... Конечно, - продолжала Мария Васильевна, - нехорошо бросать девочек. Но ведь, с другой стороны, едва ли есть такая девочка, которую бы кто-нибудь когда-нибудь да не бросил.

- Я так вас понимаю, Мария Васильевна, - ввязывался Барен, который одно время был в доме Петининой мамы завсегдатаем, - что девочка, которую никогда никто не бросал, должна чувствовать себя, э-э-э... даже в некотором смысле как бы обойденной судьбой. Не так ли?

- Нет, нет. Не надо никого бросать, надо быть добрым. Но если уж так получилось... Олег Моисеевич, еще чайку. Вы-то ведь сами все только болтаете, а за Верочку свою, небось,

держитесь обеими руками, и правильно, так и надо. И Петеньку нам надо на ком-нибудь женить. А то ведь мне уж много лет, уж шестьдесят два... или нет, постойте, - семьдесят два!

Повторяю, Мария Васильевна была очаровательная женщина, высокая, статная, волосы пышные и совершенно седые, а глаза молодые и очень добрые. Не знаю, как на других, а на меня одно ее присутствие действовало благотворно: все как-то разряжалось, становилось спокойнее, проще... Видимо все наши проблемы и переживания казались ей не слишком-то существенными.

Я рассказываю это к тому, чтобы в известной степени оправдать Петю. Действительно, когда человек, имеющий на тебя такое большое влияние, гладит тебя по головке и говорит: "Попереживает и успокоится", - то, как тут удержаться от очередного соблазна? Как не подумать: пропади все пропадом, живем-то один раз... Ах, если бы у меня была бы такая мать или в определенный период жизни я встретил бы такого друга, как Олег Моисеевич... Быть может, судьба моя сложилась бы совсем иначе и я вкусил бы запретного плода вместо того, чтобы всю жизнь только облизываться на него.

7.

Признаюсь - Петин успех у дам не давал мне покоя. Не то чтобы я завидовал. Все это было для меня настолько нереально, что о зависти не могло быть и речи. Но я не мог понять, как вообще все это могло происходить? Что такого находили в нем женщины? А ведь они, стало быть, что-то находили. Ну, допустим, многое было преувеличено, но ведь даже если и сорок процентов из того, что рассказывали, было правдой, то и этого вполне достаточно. Про нескольких женщин я точно знал, что они были какое-то время его возлюбленными. И это не какие-нибудь там бляди, нет вполне приличные, интеллигентные женщины, как правило, замужние - муж достойный человек, дети, все, как и полагается в пристойной семье. И в то же время...

А ведь Петя, повторяю, хоть и был очень милый, обаятельный молодой человек, но, в общем-то, порядочный болван. Так что же они в нем находили? Видимо, умел он с ними как-то обращаться. И когда очередная связь заканчивалась, все равно продолжали нежно к нему относиться - стало быть, оставались какие-то приятные воспоминания. Ну, хорошо! Приятные часы, приятные воспоминания, а как же нравственность? Супружеский долг?! Не в моей природе кого-то за что-то осуждать, - но у меня просто в голове не укладывалось - как все это возможно?

Я пробовал потолковать об этом с Олегом Моисеевичем, который, конечно, рад был случаю высказать всякие дурацкие суждения и снова поставить меня в тупик.

- Э-э-э, видите ли, милый Дмитрий Петрович, ведь вот вы не знаете женщин. Ведь женщины же - они нежные, хрупкие существа, ведь они всю жизнь только тем и заняты, что ходят по берегу моря, этак, знаете ли, пристально глядя вдаль, словно ожидая, не появится ли там на горизонте белый корабль с алыми парусами. И они, э-э-э, ждут так долго и смотрят так пристально, что, в конце концов, глаза их устают от напряжения перестают различать цвета. И когда черная бригантина, только слегка, для приличия приспустив пиратский флаг, подходит к берегу, они радостно бегут ей навстречу. И наш Петр, этот бандит, этот флибустьер, на котором клейма негде ставить, спускается по трапу в высоких ботфортах, руки в карманах, черная повязка поперек лица, а на губах этакая ухмылка... Вы замечали, какая у него иногда бывает ухмылка, как у волка, который, съев уже не одну бабушку, поджидает очередную Красную Шапочку. А они, чистые, беззащитные существа, толпятся около сходней и тянут к нему руки. "Скажи, ведь ты и есть тот самый принц, которого мы ждали так долго". - "Конечно, - отвечает он. - Тот самый и есть". А сам ощупывает их глазами, выбирая, кто ему больше придется по вкусу,

И, наконец, остановившись на какой-нибудь жертве, наклоняется к ней через перила, и тут у него во взгляде появляется такая интимность, и голос даже как будто немного дрожит... Вы слышали когда-нибудь, как Петя разговаривает с женщинами? Да. Так вот, он обращается к ней и говорит: "А не поехать ли нам, милочка, в сказочное путешествие?" И та уже, конечно, совсем ничего не соображая, идет за ним вверх по трапу, а он, дойдя до верхней площадки, останавливается и галантно пропускает ее вперед, а сам в это время подмигивает пьяным матросам, толпящимся на палубе. И вся эта сволочь, весь сброд хохочет, а она, чистая, невинная, переступает порог этого вертепа, думая, что входит в сказочное королевство...

Так объяснял все это Олег Моисеевич. Думаю все же, что нарисованная им картина была не совсем точна и что Петя часто поначалу сам вполне искренне принимал себя за сказочного принца и не замечал, как происходила страшная метаморфоза.

И еще одно обстоятельство несколько смущало меня в этом рассказе. Почему же именно Пете было суждено играть роль соблазнителя невинных существ? Почему же эти женщины, раз уж они были так ослеплены желанием и утомлены ожиданием, не бросались, ну, к примеру, на того же Олега Моисеевича, или хоть, черт возьми, на плохой конец, на меня. Почему же всегда именно Петя? Было, значит, в нем что-то такое, чем он так прельщал их. Но чем? Это так и осталось для меня вопросом, на который я не получил ответ ни тогда, ни сейчас.

8.

Чего только не наслышалась Нина! К каким только разговорам не привыкла за то время, что Петя и Барен сделались завсегдатаями в нашем доме. А ведь надо сказать, что раньше, боже упаси, мне никогда и в голову бы не пришло вести с ней или в ее присутствии фривольные беседы. И что бы вы подумали? Оказалось, моя жена, которую я всегда считал до известной степени ханжой, прекрасно переносила эти беседы и проявляла к ним живейший интерес. Правда, она всегда была с чем-нибудь не согласна, и не могу сказать, чтобы замечания ее всегда казались мне уместны и умны. И все же в нашем ансамбле, у нее была своя партия..

Совсем иначе обернулось дело с женой Олега Моисеевича Верочкой. Он как-то приводил ее к нам знакомиться, но ничего путного из этого не получилось. Странное дело. Она не говорила ничего такого, что могло бы внести диссонанс в наш привычный треп. За весь вечер она вообще сказала не больше двух-трех фраз.

И, тем не менее, ее присутствие нас сковало. И Барен при ней держался не так, как обычно, хотя и экал, и сентенции свои изрекал, но чувствовалось, что все время реагирует на присутствие жены. Так что на сей раз наше чаепитие свелось к кому-то светскому рауту, повторять который ни у кого не было желания.

Было такое ощущение, что все роли в этой пьесе распределились сразу же, как только Петя и Барен впервые переступили порог нашей квартиры, и для жены Олега Моисеевича роли уже не нашлось.

Любил Олег Моисеевич разглагольствовать и о тех самых "нравственных аспектах прелюбодеяния", в которых Петя, по его словам, был не слишком силен. Сам он исповедовал на этот счет довольно мрачные, почти мистические верования: дескать, кара за всякое прелюбодеяние заключена уже в нем самом, и все радости такого рода заранее отравлены, и в общем, как ни кинь - все плохо и ничего нельзя.

Впрочем, по-моему, Олег Моисеевич брался рассуждать о вещах, в которых мало что смыслил. Откуда бы это ему знать, отравлен или не отравлен запретный плод, когда я совершенно уверен, что он в жизни никогда его не вкушал, разве что в мыслях.

- Видишь ли, Петя, - сказал он как-то, - когда Бог хочет покарать кого-нибудь, то не прибегает к приемам слишком изощренным и не дает никаких объяснений, он просто... Э-э-э. Ну, вот пример, ты сегодня проводишь время с женщиной, с которой вчера было, черт знает, как хорошо и не чувствуешь ничего, кроме скуки.

- Ну и что тут такого, - удивился Петя, - просто, значит, надо денек передохнуть. Бог-то тут при чем?

- А! - воскликнул Олег Моисеевич, вскочив и начав бегать по комнате. - Ну, конечно! Я о том-то и говорю. Просто надо денек передохнуть. Вы подумайте, Нина, как прав был бог, не мой бог, а ваш бог, когда на вопрос фарисеев, кто стоит к нему всех ближе, поставил дитя. Вот так же и сейчас из всех нас, не считая, конечно, ваших милых деток, которые спят в соседней комнате, он бы, конечно, выбрал вот этого вертопраха, этого развратника...

- Не кажется ли вам, что вы сегодня слишком часто употребляете имя божье всеу, - сказала Нина, и я подумал с удовольствием, что не такая она все же дура, если смогла это так к месту заметить.

- Да, да, это верно. Имя божье всеу. Вся наша жизнь - это сплошная суя, - бормотал Барен, усаживаясь в кресло.

Но Пете, очевидно, этот вопрос не показался исчерпанным, потому что, он счел нужным сказать, что, по-видимому, здесь многое зависит от женщины. "Вот я, например..." Барен снова подскочил.

- Но, мой дорогой, - говоря это, я, конечно, не имел в виду тебя. Как ты мог такое подумать? Ты, с твоим опытом и... э-э-э, возможностями. Нет, я, конечно, имел в виду людей значительно более ординарных. Ну, например, себя или вот Дмитрия Петровича, хотя, само собой разумеется, Нина, вы меня извините... Само собой разумеется, что Дмитрий Петрович, образцовый семьянин и преданнейший супруг, даже и в мыслях не мог бы себе ничего та кого позволить.

- Господи, да пусть позволяет, лишь бы на здоровье, - сказала Нина.

Конечно, она это сказала так, не всерьез, но у меня вдруг возникло странное ощущение. А может быть, это правда? Может быть, ей действительно не так важна моя верность, моя несвобода? Может быть, она сама тяготится сознанием того, что связывает меня, и готова в любую минуту предоставить мне свободу, заговори я только об этом? И тогда станет ясно, что моя теперешняя жизнь - лишь минутное помрачение сознания, история, которую я сам выдумал, страна, которую заселил вымышленными персонажами? И вот эти персонажи - Барен, Петя, Нина - раскачиваются за чайным столом, строят друг другу смешные рожи...

- Э-э-э, милый Петя, не находишь ли ты, что когда такой, в высшей степени, деликатный, я бы даже сказал, излишне щепетильный в вопросах такта человек, как наш друг Дмитрий Петрович, открыто засыпает на глазах у гостей, то это и есть как раз тот самый момент, когда гостям пора вставать...

- Дима, Дима, ты что-то уж совсем... - сказала жена.

Вот так зашевелились эти вымышленные персонажи, напоминая о том, что комедия продолжается и сейчас мой выход на сцену.

9.

Я все же не хочу, чтобы создалось впечатление, что разговоры у нас велись исключительно только про женщин. Это не так. Тема эта, естественно, преобладала в силу хотя бы того обстоятельства, что присутствие холостяка в компании женатых мужчин неизменно вызывает у них своего рода "комплекс брака". И, тем не менее, говорили мы и про другое.

Помню, например, что в тот период вся культурная публика увлекалась чтением "Мастера и Маргариты", и когда разговор у нас дома коснулся этого произведения, то моя Нина, естественно, не смогла не сказать, что больше всего ей в книге понравились главы, посвященные Христу... "Прямо кажется, что все своими глазами видела... Конечно, именно таким он и был". И, когда она все это изрекла, у нее был такой вид, будто на нее нахлынули прекрасные воспоминания молодости, прошедшей в непосредственном общении с Христом.

Потом она строго посмотрела на Барена, который ерзал в кресле и строил какие-то гримасы, и сказала ему вызывающе и даже с некоторым оттенком пренебрежения: "Ну, а вам, конечно, не понравилось?"

- Э-э-э, видите ли, милая Нина. Мне не то чтобы не понравилось... Вещь, конечно, прекрасная... Но, видите ли, мое отношение ко всему этому несколько иное. Мне не то чтобы Булгаков не нравится, мне... вы уж, ради бога, извините, дело в том, что мне... сам Христос не очень нравится. - Никто не нашелся, что тут сказать, и Барен продолжал: - Вы задумывались ли когда-нибудь всерьез о том, какие были мотивы у синедриона, чтобы казнить его? Теперь на это принято смотреть как-то слишком легко, что это, дескать, был акт злодеяния, мести... А вы попробуйте стать на точку зрения первосвященников. А ведь на первосвященниках лежала вся ответственность за сохранение в чистоте тех заповедей, которые были продиктованы самим Богом (Барен перестал экать, что всегда было знаком того, что тема интересует его всерьез). Вы ведь поймите, что вся суть заповедей была в их кристальной четкости, в их абсолютной недвусмысленности - не убий, не укради, не прелюбодействуй. И Бог знал, что с людьми, которых он сам создал, нельзя говорить иначе, что создания эти слишком двусмысленны, что дай им только малейшую возможность, и они перетолкуют любое слово так, как это им будет удобнее. И потому Бог не разрешал сынам человеческим толковать свои заповеди; он даже не разрешал им подниматься на гору Синай, на которой диктовал их. И гора в это время "вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне..." А подумайте, что начал делать Христос (а Христом сам именовал себя сыном человеческим): в предельно ясные, написанные на скрижалях заповеди, он стал вносить неопределенность и двусмысленность. Вспомните, "Сказано древним: не прелюбодействуй, а я говорю вам, что тот, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем". Но посудите сами, Господь дал человеку власть не совершать какие-то поступки, но он не дал ему власти не испытывать какие-то чувства. А если грех прелюбодеяния приравнивается к греху вожделения, тогда стирается грань между дозволенным и недозволенным, тогда... все расплывается... Или возьмите еще: Господь ясно сказал, что шесть дней надлежит человеку работать, а седьмой день - субботу - посвящать Богу, "ибо в шесть дней создал Господь небо и землю и все, что на ней, а в день седьмой почил". А что делал Христос? Он разрешал своим ученикам работать в субботу и говорил, что "не человек для субботы, а суббота для человека". А когда фарисеи спрашивали его... Кстати говоря, теперь слово "фарисей" стало чем-то вроде ругательства, а ведь на самом деле это была очень серьезная секта, это были ученые люди, которых, в отличие от толпы, не удовлетворяла эффектная вера во всеобщее спасение и загробное существование: они готовы были поверить, но они хотели понять... Вы давно не перечитывали Евангелие? Вспомните, как фарисеи обращались к нему. Они говорили ему: "Учитель...", а он только без конца ругал их, называл лицемерами, гробами скрытыми и как-то еще почище. Зачем это?.. Сейчас принято думать, что они распяли его из мести, из страха потерять власть. По-моему, у Булгакова вроде бы так получается, что они распяли его по политическим соображениям. Это все не так. Они распяли его потому, что он был смутьян, потому что он был лжепророк...

Все мы молчали. Наверное, не у меня одного было желание возразить Барену, что он представляет дело слишком односторонне, как-то подтасовывает карты. Но где нам было

тягаться с Олегом Моисеевичем, он был на голову начитаннее и образованнее всех нас. Я лично совершенно позабыл все эти библейские и евангельские истории, и мне, грешным делом, казалось, что это Христос писал на скрижалях свои знаменитые заповеди, а потом, явившись из пустыни к народу, проповедовал их... Конечно, надо все это перечитать, а многое прочесть впервые... Но где взять время... где взять время...

Пользуясь нашим молчанием, Барен продолжал разглагольствовать:

- Жаль, что я не обладаю литературными способностями. Я непременно попытался бы изобразить всю эту историю с точки зрения еврейских первосвященников. Уверен, что они не были ни ханжами, ни злодеями, как их сейчас принято представлять... Э-э-э, конечно, эта история выглядела бы тогда несколько иначе, чем у Булгакова.

- Это было бы, в некотором смысле, Евангелие по Барену, - нашелся Петя.

- Евангелие от Барена, - поправил его Олег Моисеевич.

Все засмеялись, и разговор наш перешел на какие-то более ординарные темы.

10.

Я стал замечать, что с Бареном что-то происходит. Любопытно, по каким симптомам начинаем мы чувствовать, что в душе близкого нам человека происходит что-то необычное? Ведь сплошь да рядом человек этот старается не показывать, что с ним что-то не то. И все же проходит 2-3 минуты, и вы прерываете разговор и спрашиваете: "У вас какие-нибудь неприятности?" Я думаю, что выдают человека глаза. Этот напряженный, остановившейся, печальный, живущий как бы своей жизнью взгляд выдает его.

Меньше всего можно было ожидать, что такого неискреннего, артистического человека, как Барен, могут выдать глаза. И кому выдать! Мне - сплошь да рядом не замечающему очевидных вещей. Потом, впрочем, я понял, что не одни только глаза. Например, он стал вдруг ни с того ни с сего терять нить разговора, как-то странно замолкать... И еще одна деталь. У него вдруг появился повышенный интерес к тому, чтобы спросить: "Э-э-э, милый Дмитрий Петрович, тысяча извинений, а не найдется ли у вас что-нибудь выпить? Буквально одну рюмку, не больше, а то сегодня день какой-то, будь он проклят, не найдется?" И такое стало повторяться регулярно! Причем, должен сказать, что наши чаепития часто сопровождалось распитием бутылки какого-нибудь сухого вина, но, помнится, раньше никто не проявлял к этому особого интереса. А теперь мне приходилось то и дело покупать бутылку коньяка (благо, он тогда еще не подорожал).

Бывать у нас он стал чаще, чем раньше. Но как-то, я бы сказал, бессистемнее. Будто куда-то торопился. Или забежит вдруг, не предупредив, как будто по дороге. Посидит немножко, потом вдруг спохватится - и бежать... Несколько раз заходил, когда меня не было дома, и Нине приходилось одной развлекать его. А однажды я застал такую картину: сидит на кухне Олег Моисеевич (у Нины в тот день было какое-то собрание на работе), а мой сын Вася ведет с ним светскую беседу про разные марки иностранных машин. И Олег Моисеевич ахает, удивляется, во что-то вникает. А я-то знаю, не то что иностранные машины, он новую "Волгу" от старого "Москвича" не отличит...

Так что в этот период уют наших встреч несколько нарушился. Нельзя спешить, когда приходишь в гости! Из-за бессистемности визитов Олега Моисеевича и Петя "выбился из расписания", так что стали они сплошь да рядом приходить порознь, что, иногда было несколько утомительно.

А вот содержание наших бесед существенно не изменилось: мы по-прежнему обсуждали в основном всякие превратности личной жизни, и по-прежнему обсуждения эти, так или иначе, сводились к Петиним похождениям.

И как обычно, Олег Моисеевич поражал меня своей осведомленностью о таких сторонах жизни, о таких переживаниях, о которых я ничего не знал. А откуда он-то мог знать?!

Женился, кажется, так же, как и я, очень молодым, и голову на отсечение, конечно, не дал бы, но думаю, что ни до, ни после никаких романов у него не было. А если и было, то все равно это никак не могло объяснить его совершенно необыкновенную способность разбираться в любых психологических коллизиях!

Сколько лет прошло, а я живо помню один разговор с ним. Мне стало известно, что Петя и после того, как расстался со своей женой, оказывается, продолжал с нею встречаться... и не просто встречаться... Меня это так потрясло, что я не мог не обсудить этот вопрос с Бареном. А тот словно только и ждал случая, чтобы развалиться в кресле (хотя только что "страшно спешил"), зажать, залукавить.

- Э-э-э... Видите ли, милый Дмитрий Петрович, вы как-то, по-моему, вот неправильно понимаете суть дела. Даже не то что неправильно понимаете, а как-то... э-э-э упускаете, вот, какую-то сторону всего этого. Понимаете ли, ведь вот вы, я думаю, не станете спорить о том, что свобода прекрасна. Ну, ведь, не правда ли, свобода прекрасна?

- Да, - ответил я, - это уж как пить.

- Ну вот... Э-э-э. Если прекрасна свобода, - а она прекрасна, как день! - То, ничто не сравнится с радостью рождения этого дня - с самим моментом освобождения. Сам этот момент, я думаю, прекрасен, как утро! Не правда ли, мой друг?

- Черт его знает, - сказал я. - Не знаю. Наверное.

- Ну вот, а теперь посудите сами. Вы. Э-э-э... Много лет... Ну, или положим, не много лет, а какое-то время связаны с человеком. И поначалу эта связь была вам, в общем-то, по-видимому, как-то приятна. Иначе ради чего бы вы на нее пошли? Не так ли? Да. Но со временем... Жизнь жестока. Часто получается не то что хочешь. В общем, вам, в конце концов, все это осточертевает. Вы начинаете глубоко страдать. Но, заметьте, что... э-э-э и страдания эти так или иначе связаны опять-таки с этим человеком, который является не только причиной, но и соучастником этих страданий, а иногда он, этот человек, приносит вам и какое-то утешение. Ведь приносит же он, черт возьми, иногда и какое-то утешение! Как вы считаете?

- Да, - сказал я, - приносит.

- Ну, так вот. Милая Нина, позвольте мне выпить за ваше здоровье вот эту рюмку коньяку и простите мне, бога ради, эти кощунственные речи, которые, само собой разумеется, не имеют никакого отношения к вашему союзу с моим другом Дмитрием Петровичем, замечательным человеком и образцовым семьянином.

- Да, - сказала моя жена, - несете вы тут, действительно, черт знает что. Пойду-ка я лучше посмотрю, что там барбосы делают.

И она удалилась в соседнюю комнату, где давно должны были уже спать оба моих сына и откуда время от времени раздавались взрывы смеха, свидетельствовавшие о том, что веселье было в самом разгаре.

- Ну, так вот, - очнулся Барен от задумчивости, - цепи порваны! Небо услышало ваши мольбы вы на свободе. И как только вы оказываетесь на свободе, бывшие страдания начинают казаться вам лишь дурным сном, не более. - Он налил себе еще рюмку коньяку... - Дорогой мой, все мы только люди, все мы всего лишь только люди, все мы всего лишь орудия злых или добрых сил, которые используют нас, натравливая друг на друга или бросая друг другу в объятия. Но вот - игра окончена. Закрылся занавес за очередной сценой. Кукольник снимает с пальцев игрушечных человечков и складывает их в коробку. Какой смысл им злиться друг на друга?.. - Он как-то скис, загрустил, даже экать перестал, видимо, коньяк его разобрал. - Да. Так вот я и говорю вам, - теперь он смотрел на меня грустно и как-то даже нежно, - что мужчина, формально расставшись с женой, часто продолжает испытывать к ней самые хорошие чувства. Особенно это относится к молодым людям, обладающим известной душевной тонкостью. А ведь, я думаю, вы не будете спорить, что Петя не лишен некоторой внутренней утонченности. А, мой друг, как вы полагаете? - Упоминание о Пете сразу же изменило настроение Олега

Моисеевича. Он заерзал в кресле, глаза его снова стали лукавыми. - Э-э-э... Видите ли, я знаю целый ряд случаев, и даже значительно более разительных, чем Петин, когда настоящий брак... э-э-э... собственно говоря, только и начинался после развода. И это вполне естественно. Посудите сами: вы имеете дело с человеком, с которым так много связано, но теперь имеете с ним дело уже на новой, свободной и счастливой, основе. Вас уже ничто больше принудительно не заставляет терпеть друг друга (конечно, если за время развода удалось разъехаться на разные квартиры), в то же время - общность воспоминаний... Вы позволите мне выпить еще одну, теперь уже последнюю рюмочку?.. Годы совместно прожитой жизни, знаете ли, не так-то легко сбросить со счета. И потом, конечно, никто так хорошо не знает ваши привычки, ваши капризы...

"Н-да, - думал я, - может быть, это все и так, но случись такое со мной... И ведь, господи, до чего же я грешный человек. Ведь я же люблю... Ну ее, когда - да, когда - нет. Но детей-то ведь уж наверняка люблю. Но случись такое со мной! Я бы не стал играть в эти игрушки: "радость освобождения", "общность воспоминаний". Я бы..."

- Я даже считал бы, - продолжал размякший и захмелевший Барен, - что это наиболее естественный ход событий: мятущаяся молодость, опрометчивый брак, годы совместного истязания, потом освобождение и, наконец, ээ... ретроспективное переживание уже однажды прожитого, но в каком-то новом... - Он не закончил фразу, рассмеялся, встал и, посмотрев на часы, скорчил такую мину, что стало ясно, что ему давно уже пора не трепаться здесь, а быть совсем в другом месте. - Но вся штука в том, - говорил он уже в коридоре, беспомощно оглядываясь в поисках своего портфеля, - вся штука в том, что в момент развода у мужчины высвобождается обычно такое количество энергии, наступает такой подъем жизненных сил... Ага, вот он! - воскликнул он, увидев свой портфель. - Ах, Нина, Нина, - это уже моей жене, которая вышла проводить его. - Спаивает он вот меня, совсем я захмелел, даже в рукав не могу попасть.

- Ну, давайте я помогу вам.

- Нет, нет, все в порядке...

11.

И все же с ним явно происходило что-то неладное. Буквально через несколько дней после разговора, о котором только что я рассказал, придя с работы ужасно, помнится, усталый, я снова застал его сидящим у нас в столовой. Я подумал тогда, что это уже слишком, ему все же следовало бы предупредить меня. И тут же стал досадовать не на него, а на самого себя за то, что не умею даже в своем доме поставить дело так, как мне этого бы хотелось. И что сплошь да рядом не знаю, как бы я его поставил, если бы мне предоставили полную возможность распоряжаться событиями. Короче говоря, в раскисшем настроении застрял я в прихожей и услышал обрывки разговора, который вел с Ниной Олег Моисеевич.

- Э-э-э, видите ли, милая Нина, большинство незаурядных людей не отличалось, так сказать, высокой нравственностью. Это уж их биографы стараются обычно замазать всякие, э-э-э... темные местечки.

- Да никто, по-моему, ничего не старается замазывать, - сказала Нина.

- Ну, как же не старается? Как же не старается? Почитайте биографию Шопена, например, или Чехова... Одни благородные поступки. Если он бросает женщину, так это исключительно из высших побуждений, потому что, дескать, чувствует, что это может помешать его творчеству. Прямо тошно становится. На самом-то деле все они сплошь да рядом опускались, можно сказать, на самое дно.

Тут-то я и вошел в комнату, заметив, что все же едва ли Чехов и Шопен опускались уж так низко, а заодно и, спросив у Нины, как обстоит дело насчет обеда.

- Обед разогревается. Я же не знала, когда ты сегодня придешь. Ты же не можешь никогда толком сказать...

- Э-э-э... ну, может быть, эти и не опускались, но уж Достоевский-то опускался наверняка и не однажды.

- Ну, может быть, Достоевский и опускался, а Пушкин был замечательным человеком. Дима, ну раздевайся быстрее, все уже готово, сколько же можно разогревать, - сказала Нина.

- Да что Пушкин, что Пушкин! - воскликнул Барен. - Перечитайте о нем у Вересаева. Вел он грязную жизнь и кончил нелепой смертью. Будучи смертельно ранен, все еще был до предела озлоблен и мечтал о том, чтобы мстить. А мстить-то за что? Подумаешь, этот Дантес немного поволочился за его женою. Какое дело! Казалось, чья бы уж корова мычала...

Я думал, что Нина его сейчас ударит. Есть все же какая-то мера цинизма, которую не следует превышать в разговоре с женщинами. Она могла простить ему развязные высказывания в адрес Христа, но сказать, что Пушкин вел грязную жизнь... Повторяю, я был почти уверен, что она его ударит, но все же презрение взяло в ней верх.

- Не понимаю, как можно так говорить о Пушкине, - сказала Нина и вышла из комнаты с таким видом, что было ясно, что Барену лучше выкатываться подобра-поздорову. Именно это он и начал делать.

Впрочем, кажется, он не обратил особого внимания на Нинин гнев, да и вообще у меня создалось впечатление, что мысли его витают где-то далеко и говорил он все это не всерьез, а просто так, чтобы дать выход раздраженному состоянию, в котором находился. От моих предложений остаться пообедать он отказался.

Я видел, что он чем-то очень расстроен, и мне хотелось его утешить, но этого я никогда не умел. У меня у самого в этот день на душе было довольно мерзко.

- Да, - сказал я, - все как-то идет так...

Он уже было взялся за ручку двери, но приостановился.

- Что идет? Как?

- Да так все... Базар какой-то...

- А, видите ли, - он снова начал открывать дверь, - это сложный вопрос. Ведь никто не знает, что человеку на самом-то деле нужно. Может быть, ему на самом-то деле и нужен базар...

12.

Вскоре после этого случая мне пришлось побывать в гостях у Пети. Он неоднократно приглашал зайти к нему, но все как-то не случалось. А в тот день я после работы как раз оказался недалеко от его дома. Мне, в общем-то, всегда хотелось взглянуть на эту "обитель любви"... Мое воображение давно рисовало нечто среднее между роскошной спальней куртизанки и декорациями к "Послеполуденному отдыху фавна", что-то такое, "навевающее негу". Как эта нега должна навеваться, я толком не знал, но смутно виделась мне сглаженные линии, ниспадающие покрывала или занавески. Что-то, в общем, ниспадающее, мерцающее... Может быть, камин. Когда же я пытался конкретизировать картину, то все пропадало: виделось лишь ложе - огромное, трех-четыре-десяти-спальное, такое, на котором мог бы уместиться весь гарем, и оно все росло и превращалось, наконец, в тенистую оливковую рощу на берегу журчащего ручейка. И я видел пастушек и слышал звуки свирели... И все эти чудеса должны были происходить где-то в районе метро "Сокол", в однокомнатной квартире.

Открыли мне не сразу. Я уже начал вытаскивать записную книжку, чтобы проверить адрес, когда услышал за дверью шаги, и в следующий момент увидел самого Петю,

порадившего меня необычной растрепанностью своего туалета. Он буркнул только "извини" и "проходи" и исчез, оставив меня в прихожей. Воспользовавшись этим, я стал не спеша оглядываться. Первое, что бросилось мне в глаза, было огромное в деревянной оправе зеркало, стоявшее рядом с вешалкой. Мне приходилось разве что в парикмахерской или в магазине мужской одежды, где я, естественно, бывал крайне редко, видеть себя в полный рост. Поэтому я задержался на некоторое время, внимательно разглядывая себя. Думаю, что то же самое делал здесь всякий человек - мужского, и тем более, женского пола. Затем я вошел в комнату и картина, открывшаяся моему взору, просто ошеломила меня: в полумраке, среди ужасного беспорядка, на диване, лежал полуодетый Петя. У него был страшный приступ мигрени.

- А, будь она проклята. Уже две пачки тройчатки съел. Извини меня, пожалуйста, что так получилось.

Бедный Петя! Все что угодно представлял я себе, но только не такую картину. Вот тебе и обратная сторона медали! В этой "обители любви" и сдохнуть недолго одному. Я и раньше слышал, что у него бывают сильные приступы головной боли, но, честно говоря, мне всегда казалось, что этот его недуг, так же как и бессонница, на которую он постоянно жаловался, происходят от слишком большого количества свободного времени, то есть от безделья. Мне лично ни на что такое просто не хватило бы времени. И что-что, а уж засыпал я буквально с ходу, едва касался головой подушки. Но одно дело - слышать жалобы, а другое дело - своими глазами видеть, как богатырь и красавец, словно малый ребенок, корчится и стонет на кровати.

И главное - ни одной живой души рядом!

Сколько раз я слышал разговоры: "Как хорошо - приходишь, и никто к тебе не лезет". Вот тебе и не лезет! Ведь когда в яму опускают, тоже, наверное, никто не лезет, только в этом ли радость?

- Принеси мне грелку. Нагрей в чайнике воду погорячее и сделай грелку.

Надо сказать, ухаживать за больными детьми было для меня не новостью, и я быстро вошел в соответствующую роль. У меня создалось впечатление, что само присутствие мое и то небольшое, что я мог для него сделать, подействовали на него благотворно.

Я укрыл его одеялом, дал грелку, и он, похав еще немного, задремал.

Делать мне было нечего, и я начал разглядывать комнату. Это было несколько затруднительно, потому что лампу, стоящую около Петинной кровати, я потушил. Но и при скудном свете, проникавшем из кухни, я мог разглядеть довольно много. Беспорядок, поразивший меня в первый момент, был просто следствием того, что, явившись домой с головной болью, Петя разбросал по комнате предметы своего туалета, а заодно, возможно, в поисках каких-то лекарств, и все, что попало ему под руку. В остальном же в комнате было вполне даже прибрано и чисто. Обставлена она была незамысловато. Напротив стены, у которой стоял Петин диван, было окно. Перед окном - письменный стол, который не производил впечатления, что за ним кто-нибудь когда-нибудь сидел и что-нибудь писал. Посередине комнаты стоял еще один маленький, по-видимому, журнальный столик, рядом с ним - узенький диванчик и торшер. У стены на тумбочке стояла радиолка, на соседнем стуле лежали две большие пластинки. Вот, пожалуй, и все. На стенах не висело ничего.

Глядя на эту обстановку, трудно было сказать, чем занимается живущий здесь человек. Я бы даже сказал, что комната не производила впечатления вполне обжитой: было ощущение, что сюда скорее навешиваются, чем здесь живут. Как бы в подтверждение этой догадке, напротив двери лежал большой кожаный чемодан. И чего уж совершенно не было нигде вокруг, так это следов каких-нибудь научных занятий, приличествующих все же домашней обстановке научного сотрудника.

Впрочем, и на работе Петя не слишком утруждал себя занятиями. У него были то, что называют "прекрасные руки": он был незаменим при оформлении стенной газеты,

изготовлении рамок для эпидиаскопов и вообще каких-нибудь приспособлений. Такие вещи в научно-исследовательских институтах ценятся не меньше, а сплошь и рядом больше, чем научные изыскания, и Петю на работе ценили. Тем более что характер у него был прекрасный, всегда он всем охотно помогал...

И еще, что поразило меня в Петинной комнате, так это почти полное отсутствие книг. Как я понял из разговоров с ним, его чтение остановилось на классиках прошлого века, которых он, кстати сказать, знал довольно хорошо. Современную же литературу почти совсем не читал. Тем более неожиданным было для меня однажды узнать, что он залпом прочел всего Фолкнера и говорил о нем с восторгом, искренне и тонко: Барен даже язык прикусил, а Нина смотрела на него с гордостью и все время кивала, хотя сама, по-моему, заснула на третьей странице "Деревушки". Возможно, у Пети был литературный вкус, который он мог бы развить. Но к чему ему было читать книги (мысль Барена), если знание о том, про что в книгах только и пишется (в прямой или завуалированной форме), он получал непосредственно, "из первых рук". Может, так оно и было.

По опыту своей матери, страдавшей мигренями, я знал, что требуется довольно много времени, чтобы прийти в себя. Однако у Пети все прошло быстро, как, впрочем, все у него проходило. Через полчаса он востепенно и заявил, что чувствует себя прилично и займется приготовлением чая. Включил торшер, в два счета прибрал разбросанные вещи, задернул шторы на окнах, унес куда-то чемодан, и комната сразу приобрела вполне уютный вид.

Должен также поправить и насчет книг: не считая журналов, которые были разбросаны на низеньком столике, и на тумбочке, я разглядел еще и полное собрание сочинений Диккенса на стеллаже возле письменного стола.

- Ты что же, такой поклонник Диккенса? - спросил я Петю, который в это время сутился на кухне.

- Да нет, это мать зачем-то подписалась. А потом, знаешь, как у нее тесно, девать некуда, вот она ко мне и переправила.

Мы пили чай на кухне и болтали. Но разговор не слишком-то клеился. Мы так привыкли общаться при помощи Барена, что без него были, можно сказать, в затруднительном положении. Я пытался было подвигнуть его на рассказы о похождениях, но то, что у Олега Моисеевича получалось естественно, у меня не получалось совсем. Петя, может быть, и не прочь был что-нибудь порассказать, но его надо было как-то подзадорить, а этого я не умел.

Разговор принял более плавный характер, когда мы начали ругать постановку работы в нашем Институте. Но тут Петя пожаловался, что все же не вполне бодро себя чувствует, и мы перешли назад в комнату, где он, извинившись, лег на кровать, а я присел возле него. Теперь несколько слов о самом этом ложе. Это был обыкновенный диван-кровать, который, впрочем, как диван, очевидно, никогда и не использовался: он был застелен и покрыт сверху какой-то пестрой накидкой. Достаточный для одного человека и, очевидно, узковатый для двух. В голове его стояла тумбочка, а на ней - маленькая настольная лампа. Вот и все. И ничего такого, что могло бы "навевать негу" или свидетельствовать о разгуле страстей. К моему разочарованию - ничего.

И все же я не мог отделаться от мысли: на что только ни насмотрелись эти простые предметы! Эта накидка, этот ночничок... В то время усиленно поговаривали о Петинной связи с новой сотрудницей. Прелестная молодая женщина, застенчивая, в очках... Она сидела, может быть, на том самом месте, на котором теперь сижу я, а он вот так же лежал... Наверное, в эти самые минуты... - будь они прокляты, эти самые минуты, - она снимала очки. Или нет, она, наверное, сначала говорила "погоди", а потом снимала очки. Мое блудливое воображение завело меня так далеко, что я почти перестал слушать, что говорил Петя. А он как-то совсем раскис и все жаловался, что на работе его не ценят, что личная жизнь у него не ладится...

Домой я пришел совсем поздно и был рад, что все уже спали и никто меня ни о чем не расспрашивал.

13.

"Барен от жены смотался!" - это известие пронеслось по нашему Институту, сразу нарушив дремоту всех его шести этажей. В лабораториях, коридорах, буфете, наконец, в туалете только об этом и говорили. Как смотался? Куда? Или вернее, к кому?

Мне и по сей день неясно, откуда проникли к нам самые разнообразные сведения. Только дня через два стало точно известно, что смотался он вполне серьезно и не просто так, "в никуда", а к какой-то другой женщине, кажется, очень молоденькой, с которой у него, вероятно, уже давно были романтические отношения. Вот те и на! Вот вам и Барен! Уж, кажется, от кого от кого, но только не от него можно было этого ожидать. Такой болтун, такой резонер, не способный, казалось бы, ни на какое серьезное действие, и вдруг такой финт! "Может, она его как-нибудь заставила? Может, там должен быть ребенок?" - "Да тут-то ведь уже есть ребенок". - "И то верно. Непонятно, непонятно, как он на это пошел". И, казалось бы, действительно, если уж так ему приспичило, если уж он там с кем-то сошелся, ну, и жил бы себе потихоньку. Все так живут. Не сам ли он сотни раз об этом говорил? Зачем же давать повод для такого шума: бросить жену с ребенком, уйти к другой. "А может, он всерьез влюбился?" - "Ну, знаете, это что-то маловероятно. А, впрочем, чего не бывает".

Проще всего, конечно, было бы выяснить все это у самого Олега Моисеевича, но он не показывался. Говорили, что он, якобы, позвонил прямо директору и попросил дать ему отпуск за свой счет. У нас дома он тоже не появлялся. Поймав в коридоре Петю, я попробовал было с ним обсудить эту проблему, но он как раз меньше, чем кто бы то ни было, склонен был видеть во всем происходящем что-то особенное.

- Ну, а что тебя, собственно, так уж удивляет? Ведь он, наверное, уже давно погуливал, - сказал Петя.

- С чего ты это взял? - спросил я.

- Ну, как с чего? А все эти разговоры. Ты думаешь, это все так - только одна теория? - сказал Петя.

- Да, я был совершенно убежден, что никаких романов у него никогда не было, - сказал я.

- Думаешь, не было? - спросил он.

- Ну, может, и правда - не было. Ну, ничего, появится - расскажет.

Так что Петя проявил значительно меньше интереса к похождениям Олега Моисеевича, чем коллеги и я. Я, впрочем, и раньше замечал, что Петю не слишком интересовало все то, что не касалось его самого. Он как-то очень естественно терял интерес к разговору, когда слишком долго разговаривали не про него.

Долго ждать не пришлось. Дней примерно через пять Барен сам позвонил мне домой и не экая и не мэкая, а довольно, я бы сказал, даже сухо сообщил, что ушел от жены, и так как бывать в "ее доме" ему бы больше не хотелось, то просит меня оказать ему услугу - сходить к ней и забрать его документы и вещи: "Их там, кстати, не так уж и много". Тон его не располагал к расспросам, и поэтому я просто обещал, что в ближайшее время сделаю все, что от меня зависит.

- Зачем тебе это нужно? - злилась Нина. - Сам заварил кашу, пускай и расхлебывает. Зачем тебя в это дело путает? Представляю, как они там с тобой будут разговаривать, и будут, кстати, совершенно правы. Я бы, вот убей меня, ни за что не пошла...

Забавно, насколько разные мы с ней люди. Она - значительно более здравомыслящий человек, чем я: много раз у меня на глазах в два счета принимала решения там, где я бы ломал голову и без толку переживал невесть сколько времени. И в то же время, были

положения, в отношении которых она проявляла поразительную, прошу прощения, тупость и отсутствие интуиции.

Да! Конечно! Барен бросил жену. Естественно, свою ненависть она перенесет на меня. И ничего удивительного не будет, если вышвырнет меня вместе с его вещами и документами.

И все же я был совершенно уверен в том, что ничего подобного не случится. Роль моя была мне ясна: я был, в сущности, сторонний человек, я не был обязан ни обвинять, ни оправдывать Олега Моисеевича, и отнюдь никаким не был я "его представителем", просто "меня попросили". Только и всего. Мне даже интересно было, как все это произойдет.

Я позвонил по телефону его жене и, выяснив, что она дома и ничего не имеет против того, чтобы я зашел, отправился к ней.

То был старенький двухэтажный дом, в переулке рядом с Зубовской площадью.

Отыскивая подъезд и поднимаясь по деревянной лестнице, я вспоминал, сколько было у нас разговоров о том, что дом этот должны сносить и что надо сделать все возможное, чтобы получить отдельную трехкомнатную квартиру. И как Олег Моисеевич все выяснял: будет ли при этом учитываться, что он, кандидат наук, имеет право на дополнительную площадь, или же это важно только для того, чтобы удержать, то, что уже имеешь, а при получении новой квартиры не принимается в расчет.

Ни о какой трехкомнатной квартире теперь, конечно, не может быть и речи. Да и вообще, все эти переживания, в которых мы, как его друзья, тоже принимали участие - все это оказалось бессмысленным. Вот так и все в жизни. Чего-то добиваешься, суетишься, а потом - раз, и оказывается, что все это никому не нужно, а важно что-то совсем другое...

Дверь мне открыла жена Олега Моисеевича, Вера. Она провела меня в комнату, где, кроме нее были еще две женщины. Верина мать - Александра Семеновна и их соседка (как звали - не помню), которая, кажется, была какой-то их дальней родственницей. Лица у всех них были довольно постные, но ничего душераздирающего не происходило: пили чай. Мне тоже предложили присоединиться, что я охотно и сделал, подумав, что пока с вражеским парламентарием обходятся вполне по-человечески.

Стали говорить про детей. Система преподавания в школе сильно изменилась в сравнении с прежним временем. О правилах чистописания теперь никто вовсе не заботится, детей с первого класса приучают писать авторучками. Да что там - авторучками! Теперь чуть ли не в четвертом классе уже интегралы берут. Может, оно и правильно, только что из них в результате получится... Помолчали.

- Дмитрий Петрович, еще чайку?

- Да, если не сложно, пожалуй, не откажусь, - сказал я.

- Какие там сложности. Почему вы не берете печенье? - спросила Александра Семеновна, Верина мать.

Выяснилось, что печенье пекла именно она. Поговорили про это. Потом еще помолчали.

Потом соседка спросила, будет ли сегодня по телевизору продолжение того фильма, который показывали вчера. Никто не знал. Стали искать телевизионную программу.

Постепенно у меня возникло опасение, что вечер так и пройдет в разговорах про детей и в сожалениях о том, что по телевизору совершенно нечего смотреть. Видимо, ждали, что разговор о деле начну я. Я же, черт бы меня побрал, совершенно не знал, как подступиться и с чего начать. Помогло мне то, что соседка отправилась искать программу у себя в комнате и Александра Семеновна вышла за ней следом. Мы остались вдвоем.

Вера, которая до сих пор почти все время молчала, не глядя на меня, вяло ковыряла ложечкой в розетке с вареньем. Я понял, что надо решаться.

- Слушайте, Вера, неужто это серьезно? - спросил я.

Она сразу же переменилась в лице.

- Это серьезно. Это значительно более серьезно, чем он предполагает... - проговорила она, и от вялости ее не осталось и следа. Она вся как бы впилась в меня. Тихий мяукающий ее

голос сделался неприятно-резким, она вся как-то подалась вперед, "взор ее горел", и вид у нее был довольно агрессивный. - Во всяком случае, он может не рассчитывать на то, что кто-нибудь примет его назад.

Я подумал, что, насколько мне известно, он ни на что такое и не рассчитывает, но, естественно, промолчал. В это время в комнату вернулась Александра, которая сразу поняла, что со вступительной частью покончено, и сходу заговорила.

- Ах, Дмитрий Петрович, вы даже не можете себе представить, какое это счастье. Я прямо до сих пор не могу в себя прийти. Неужто это - правда. Неужто этот человек действительно оставил нас в покое. Сам ушел! Господи, да такое счастье может только во сне присниться. Когда Вера мне рассказала, я сразу ей сказала: Верочка, это - счастье... Говорила она громко, театрально, как будто обращаясь к притихшему залу. Сама же, как я заметил, то и дело поглядывала на дочь, которая, выпалив свои первые угрозы, снова вяло потупилась.

- Вы не знаете, что это за человек, Дмитрий Петрович. Это - страшный человек! Держитесь от него как можно дальше. Для этого человека нет большего удовольствия, чем втравить вас в какую-нибудь мерзкую историю, а потом всячески это смаковать. Боже, какое счастье!

Я вспомнил, от кого-то слышал, что Александра Семеновна всегда очень благоволила Олегу Моисеевичу. Очень любила его послушать.

- И все время - эта мерзкая болтовня! Кажется, чего бы только ни дала, чтобы больше этого не слышать. Знаете, многие люди просто перестали у нас бывать, со многими пришлось раззнакомиться. Моя сестра, например, культурнейшая женщина, артистка театра Вахтангова. Вот недавно вышла не пенсию, а то все время играла. Вы видели "Принцессу Турандот"? - спросила она меня.

- Нет, к сожалению, - сказал я.

- А "Миллионершу"?

- Тоже не видел.

- А... фильм такой есть... Как же он называется... Забыла. Баталов там играет... Как же он...

- Мама, это неважно.

- Да, конечно. Так вот она не стала бывать у нас в доме. Ей просто противно было. Когда я ей вчера позвонила, она меня прямо поздравила. Вот думала, может, сегодня зайдет... Ведь, кажется, все здесь для него делали: и обед ему всегда - пожалуйста, и покупали все. Ведь он же никогда палец о палец не ударил, чтобы себе - я уж не говорю, Вере или ребенку - хоть туфли или костюм купить.

Я вспомнил обтрепанный вид Олега Моисеевича и то, с каким аппетитом он всегда набрасывался на всякую еду, и подумал, что эта часть их благодеяний, по-видимому, все же не была основной.

В общем, все шло, как по маслу. От меня почти не требовалось никаких реплик. Я только ахал и всячески давал им понять, что потрясен разоблачением моего бывшего друга.

Улучив момент, я заикнулся о деловой стороне визита.

- Кстати, он мне тут как-то позвонил, - я именно подчеркнул, что Олег Моисеевич позвонил, а не зашел ко мне. - И попросил, чтобы я взял его документы и кой-какие вещи. Вы, конечно, понимаете, что мне совершенно ни к чему всем этим заниматься. И вообще мне как-то неудобно...

- Ну, что вы, что вы, Дмитрий Петрович. Вы страшно нас обяжете! Мы будем вам бесконечно признательны, если вы нас избавите от того, чтобы его видеть. Огромное вам спасибо.

Вера тоже встрепенулась, закивала и, выйдя в соседнюю комнату, скоро вернулась оттуда с чемоданом и объемистым, хотя и не тяжелым, кулем. Я подумал, что немного же вещей скопил Барен за их совместную жизнь. Если бы я уходил из дома, то, мне кажется... А, впрочем... Тут все оставишь...

- Там еще книги кое-какие есть. Потом надо будет разобраться, - хмуро сказала Вера.
- Да уж во всяком случае, он может не сомневаться, что его вещей мы у себя не оставим, - подхватила Александра Семеновна. - Ты проверила, документы в чемодане? Дмитрий Петрович, может быть, еще чайку? Время-то еще, в общем, раннее.
- Да нет, спасибо. Знаете, пока доберусь... - отказался я.
- Мама, я провожу, - сказала Вера.
- Ну, конечно, проводи, проводи.
- Всего хорошего, Александра Семеновна, извините за беспокойство.
- Всего хорошего, Дмитрий Петрович, заходите, пожалуйста.
- Спасибо.

Я выволок в переднюю барахло Олега Моисеевича. Вера вышла за мной и прикрыла дверь в комнату. Я начал одеваться.

- Так что пусть не рассчитывает, что кто-нибудь разрешит ему вернуться назад, - мрачно произнесла она ту самую фразу, с которой и начался наш "разговор о деле".

Я сочувственно закивал.

Очевидно, Александра Семеновна, захватив инициативу, не дала ей выговориться.

- И главное, подумать только, надо же мне было быть такой идиоткой: ведь, когда он сказал, что уходит из дома, я до того растерялась, что попросила его подождать несколько дней. Надо было видеть, с каким видом он согласился. Дура такая. Ни за что себе этого не прощу.

Она замолчала, и я, решив, что это - все, взялся за чемодан.

- Да, действительно, ничего тут не скажешь. Ну, я, пожалуй, двинусь.

Но она не обратила на меня никакого внимания.

- И как мерзко он все это сделал. Никогда я этого ему не прощу. И не то что он меня оставил. Это, может быть, и к лучшему. В конце концов, этого от него всегда можно было ждать. И не то что оставил меня с ребенком - такого отца лучше совсем не иметь. И даже не то что к другой женщине ушел, он и с ней долго не проживет. Но вот этот тон, которым он согласился... вспомнить не могу... идиотка... вот этого я ему никогда в жизни не прощу. "Ну, уж это - чепуха, - подумал я, - до тона ли тут. Да и какой, собственно, тон она хотела? Просьба та тоже, в общем, была весьма двусмысленной".

В это время дверь в комнату приоткрылась, и оттуда выглянул мальчик. На вид ему было лет семь-восемь, светленький, в очках. Чем-то он очень походил на Олега Моисеевича, я так и подумал, что он сейчас скажет: "Э-э-э..." Про ребенка редко можно сказать - некрасивый, да я толком и рассмотреть-то его не успел, но очень он оказался мне какой-то хиленький, невидный какой-то.

- Я что тебе сказала? Чтобы ты сейчас же ложился! - с каким-то остервенением закричала на него Вера, и он скрылся.

Я думал, она будет говорить еще, но запал ее, видимо, иссяк. Молча мы вышли на площадку лестницы, молча спустились.

И здесь вдруг вся моя дурацкая сентиментальность прорвалась во мне. Трудно даже передать, до чего мне сразу стало не по себе! То ли этот мальчик на меня так подействовал. Жалкий уж очень он мне показался. То ли все это вместе как-то вдруг... повернулось... А, будь оно проклято! Ведь, в общем-то, это все совсем не игра.

Я поставил вещи на тротуар. Вера по-прежнему молчала. Вид у нее был убитый.

- Вы сходите за такси. Я постою здесь с вещами.

Может быть, я сам за нее все придумал, только мне показалось, что караулить его вещи... да и не только караулить, а, наверное, и собирать их, отделять: что его, что не его, - было самым болезненным во всем этом деле. Ведь, когда живешь вместе, вещи друг друга так перемешиваются, кажется, нет возможности их разделять. А вот - случись, и оказывается, что очень даже можно. И даже не так уж и сложно. В конце концов, все можно засунуть в чемодан и тюк. И еще, может быть, останутся какие-нибудь книги, в которых надо

разобраться. И это все. Конечно, есть еще ребенок, но это уже другой счет. Есть еще то, чего не засунешь ни в чемодан, ни в тюк, про что говорят, что, дескать, только время, только время... Но это тоже - другой счет. А всякие вот эти вещи, вещички всякие: "Тебе не кажется, что этот серый свитер давно пора выбросить?" - "...Послушай, если этот кентавр тебе так необходим, ты не мог бы его куда-нибудь переставить, а то я, когда стираю пыль со стола, его все время опрокидываю", - это-то вот все сейчас засунется в такси...

Кстати, как назло, поймать это самое такси оказалось не так-то просто. Прошло не меньше получаса, пока мне удалось это сделать. Веру я застал в той же позе, в какой и оставил. Казалось, она дремала...

- Если я чем-нибудь смогу вам быть полезным... - сказал я.

- Спасибо, Дмитрий Петрович, может быть, что-нибудь и понадобится. Все это так неожиданно случилось... Мама тут много лишнего наговорила, да и я тоже. Ни к чему все это. Вы уж извините, - сказала Вера.

Я взял ее за руку.

- Наладится все как-нибудь, - сказал я.

Она улыбнулась, первый раз за весь вечер, едва ли не первый раз за все время нашего знакомства.

- Да, наверное, наладится, сказала она. - Сейчас только как-то... Спасибо большое. Нине кланяйтесь.

Домой я вернулся в таком спутанном, таком мерзком настроении, что даже Нина поняла, что со мной что-то неладно и не стала ни о чем расспрашивать.

14.

Вот, собственно, и все. На этом и закончились наши встречи, наши чаепития, наша болтовня за чайным столом, к которой я, смешно сказать, так привык, что какое-то время мне ее сильно не хватало. Все сразу оборвалось. Выяснилось, что Олег Моисеевич уже давно подал заявление об уходе и устраивается работать в каком-то другом институте. Он как-то так ухитрился все это оформить, что в нашем учреждении больше не появлялся. За своими вещами он зашел тоже тогда, когда меня не было дома, так что у меня создалось впечатление, что он меня как будто избегает. Впрочем, то же самое было и по отношению ко всем другим бывшим его знакомым.

Кое-кто даже жаловался мне, что он как будто специально сбивает с толку: назначает встречу, обещает позвонить, а потом исчезает. Все тогда на него немного обиделись. В конце концов, всем было интересно узнать, на ком он женился, как выглядит в новой роли. Особенно нам, его друзьям. Нам так хотелось посмотреть на него, обсудить создавшееся положение, посочувствовать, наконец, подбодрить. Неужто трудно ему было доставить людям такое скромное развлечение? От другого, может, ничего бы и не ждали, а ведь он сам приучил нас к тому, что вокруг него все время устраивался какой-то театр. Приучил, а потом в самый интересный момент взял и смотался. Как тут было не обидеться?

Правда, через какое-то время он мне позвонил, и разговор у нас с ним был в таком тоне, будто ровным счетом ничего не произошло. Он поблагодарил меня за то, что я так быстро и так аккуратно выполнил его просьбу... "Я был уверен, что вам будет приятно нанести им визит... Милые дамы... Э-э-э, жаль, что вы не предупредили их заранее о своем приходе. Моя бывшая теща прекрасно печет пироги. Она, наверное, испекла бы пирог. Ах, было печенье! Ну, значит, вы все же частично вкусили тех радостей, которым я предавался многие годы и от которых, увы, волею судеб теперь оторван". Больше он на эту тему не распространялся, к тому же говорил он из автомата, и его торопили. Но, в общем,

повторяю, по тону нельзя было сказать, что в его жизни произошли столь существенные перемены: он и экал, и шуточки свои отпускал, и мы договорились в ближайшее время повидаться. Но... не повидались. Сам он не позвонил, а разыскивать его, видя, что он не стремится к продолжению знакомства, мне тоже было не с руки.

Все же я ни тогда ни сейчас не понимаю, почему наша дружба должна была прерваться из-за того, что он переменял жену. Мне-то, в конце концов, было совершенно безразлично, на ком он женат. Тот неприятный осадок, который был у меня после посещения его жены, быстро прошел. Способствовал этому, кстати говоря, разговор, который был у меня с Петиной матерью Марией Васильевной. Я встретил ее примерно через месяц после описанных событий в поликлинике для научных сотрудников. Она была расстроена. Какие-то боли в желудке. Врачи что-то темнят. В ее возрасте вполне естественны всякие подозрения.

- Ну, да что об этом говорить. Олега Моисеевича не видите? Да, у нас он тоже перестал бывать. Нескладно как все это у них получилось-то. Впрочем, знаете ли, я, по правде говоря, не могу осуждать его. Ведь эта Вера - она его никогда не любила. Я несколько раз видела их вместе. Мне показалось даже, что она его как-то презирает... Конечно, ему это было неприятно. Ведь он, в сущности, неплохой человек. Поболтать любит, ох уж любит... Ну, так что с того? И ее, конечно, жалко. Ну, да не она одна. Мальчик-то ведь уже большой. Говорят, на отца очень похож. Я его никогда не видела. Встретит еще кого-нибудь, ведь она же молодая женщина. Вы-то уж, смотрите, не вздумайте разойтись! На вас одного и надежда. На моего-то дурня рассчитывать нечего...

Что до "ее дурня", то он тоже довольно скоро ушел из нашего института. Его уход ни в коей мере не был связан с дамами, просто в другом месте ему предложили более высокий оклад, только и всего.

- Хватит с меня этого бардака, - говорил он накануне своего ухода. - Видеть не могу эти коридоры, эти клетушки. Сколько тут для них ни выкладывайся, все равно никто ничего не ценит...

Где уж он тут выкладывался? Да и что он такого собой представлял, чтобы с таким пренебрежением отзываться об учреждении, в котором к нему всегда относились вполне благожелательно. Ну, а что до "бардака", так если это и было так, то, скажем прямо, его лепта здесь была не последняя. Так что, кому-кому, а ему бы помалкивать.

Как бы там ни было, но он ушел. А, уйдя из института, почти сразу же перестал появляться и у нас дома.

Так вот все это и кончилось. Хотя, убей меня, я все же не понимаю, почему мы должны были перестать встречаться. Во всяком случае, уж что-что, но только не научные интересы нас связывали. О чем мы только ни болтали, каких только тем ни касались, но уж о чем заведомо никогда не говорили, так это о науке. Вот уж чего не было, того не было. Конечно, с переходом на разные работы встречаться стало бы немного сложнее: надо было бы созваниваться, договариваться. И все же мне казалось, что терять ту дружескую связь, которая сложилась у нас в период этих наших встреч только из-за того, что мы перестали работать в одном здании, было как-то обидно. И, тем не менее, именно это и произошло. Что-то изменилось в самой основе наших отношений, и все распалось. Помнится, я читал в каком-то американском романе об одной вечеринке, которая была испорчена. И там было очень верно сказано, что можно было устроить другую вечеринку, на ней могли собраться даже те же самые люди, но эту вечеринку исправить уже было нельзя...

Впрочем, переживал я, помнится, не так уж и долго. Как раз в то время мой младший сын заболел корью. Потом Нина оступилась и сломала ногу. Потом мне представилась возможность по работе поехать на месяц в Венгрию, где в это время как раз был разрешен стриптиз... Неудивительно, что все это помогло мне отвлечься и... утешиться.

15.

Прошло несколько лет. И за это время я все реже вспоминал про Петины похождения и про то, как Барен их забавно комментирует, и про многое другое.

И вот однажды стою я в метро в ожидании поезда и вдруг вижу, что по платформе широким шагом идет этот сукин сын, этот "первый Дон Жуан Москвы и Московской области".

Я сразу же заметил, что он несколько пополнел и, очевидно, полысел, потому что волосы стал носить как-то по-другому, но, тем не менее, все так же строен и хорош. А когда, увидев меня, начал улыбаться, то будь я женщиной... Мы бросились друг к другу: "Ну, как ты? Как ты? А Барена видишь?" Оказалось, что он-таки иногда с ним встречается. Тот, оказывается, купил кооперативную квартиру где-то у черта на куличках: то ли в Мневниках, то ли в Чертанове...

- Ну, а какая у него жена?

- Да так, ничего. По-моему, на первую очень похожа, как ее звали, Галя, что ли? Да, Вера. Тоже такая беленькая, тихонькая... А там - черт ее разберет. Я их как-то на улице встретил. Не успел толком рассмотреть.

- Ну, а как дома? Как Мария Васильевна? - спросил я.

- Да все благополучно.

- А как у тебя?

- Да тоже все ничего.

Перебрав, таким образом, все основные новости, я вдруг понял, что говорить-то нам с ним, в сущности, не о чем. И он это понял и стал смотреть на меня нежно и, как мне показалось, даже несколько печально.

- Ну, что же, - сказал он, помолчав, - пожалуй, надо двигаться. - Дела, знаешь, дела.

А мне стало вдруг грустно с ним так расставаться.

- Да, что говорить, - сказал я, - дела заедают. Но ведь, наверное, не только дела? Ведь, наверное, и дамы? А, Петенька?

И тут он заулыбался, закокетничал. Прямо, как в былые наши времена.

- Конечно, - сказал он. - Конечно. И дамы.

И зашагал к выходу. Больше я его не встречал.

ТРЕХГОРКА-УСОВО

1.

Случалось ли тебе, читатель, променяв дело на безделье, поборов желание поваляться еще часок в кровати, подавив суетное намерение толково провести день, махнув рукой на пяток неразрешимых проблем, выйти из электрички июньским утром на одной из подмосковных станций, пройти сквозь поселок, где владельцы дач с утра пораньше копошатся на своих участках, что-то вскапывая или окучивая, ступить на лесную просеку и испытать то чувство, которому русский язык дал прелестное имя - беспечность. Не стал ты ни моложе, ни умнее, не решил переходить ли на другую работу или оставаться на прежней, не нашел радикального средства борьбы с радикулитом, по-прежнему все неясно с отпуском, по-прежнему гложет мысль, что тебе скоро уже пятьдесят, а ты все еще не... но светит солнышко, попискивают синички - природа не интересуется твоими проблемами, и тебе самому они начинают казаться не такими уж важными.

Если тебе случалось пережить все это, то ты поймешь и настроение членов нашей группы, которые, выйдя из электрички на станции "Трехгорка", переходят Можайское шоссе, чтобы вскоре погрузится в лес.

У перехода через шоссе Таточка обращается к своему мужу Льву Михайловичу, высокому пожилому мужчине, который даже под рюкзаком не теряет осанки горожанина и профессора.

- Лева, это то место, где олени?

- Нет, это совсем на другом шоссе.

- На вид очень похоже.

- Да ничего общего. Пошли, Тата, не отставай.

Тате не отставать трудно: ростом она невелика, и шаг у нее, наверное, вдвое короче, чем у Льва Михайловича. Выглядит она, как школьница, которая неожиданно вдруг взяла и постарела лет этак на тридцать. Но это досадное обстоятельство, кажется, принципиально ничего в ней не переменяло, и если бы не морщинки, если бы не полнота, если бы... да что там перечислять... на лице ее постоянно выражена готовность радоваться и удивляться жизни.

Итак, группа пройдя между дачами топает по просеке следом за руководителем своим, опытным туристом Федором Петровичем Крюковым. Роста он выше среднего, жилист, мускулист, немного сутуловат, всегда без головного убора, редкие седые волосы на косой пробор, лицо скуластое, глаза очень светлые, время от времени в них вспыхивают искорки, поджимаются губы, и лицо это, в общем-то, довольно мрачноватое, приобретает выражение лукавое и насмешливое.

Его поставленные в снегу палатки встречали рассветы над памирскими ледниками: Гармо и Фортембрасом, его отриконенные ботинки ступали на все перевалы главного кавказского хребта, его ледоруб прокладывал путь по ледовым и снежным склонам... И какие у тебя были основания мандражить, идя по гребню, когда тебя страховал сам Крюков.

Ему 65 лет, но те, кто знали его в 35, говорят, что он несколько не переменялся, разве что морщин больше, и хотя на вид стал более суров, но, в сущности, своей помягчал.

В прежние времена, бывало, никаких различий не делал между прогулками по Подмосковью и переходами по зимней тундре. Требовал, чтобы на маршруте Малино-Опалиха группа шла с полной выкладкой и даже несла с собой запас пресной воды на день перехода - всякое может случиться!

И когда ходили с Федором Петровичем, то, действительно, чувствовали, что повернуться может по всякому. Пусть сейчас светит солнышко, чирикают воробышки, на раскладных стульчиках сидят пенсионеры, и до поселка рукой подать. Но вот задует северный ветер, потемнеет, нахмурится все вокруг, загудят сосны, исчезнут и воробышки и пенсионеры, не видать станет ни жилья, ни дороги, заметет поземка, загудят лавины, разверзнутся хляби небесные, и ты поймешь, что с подмосковной просекой тоже шутить не стоит, что она не в квартирке твоей проложена, а в природе, где вода и ветер, и дикие звери, и надо быть ко всему готовым, ибо... всякое может случиться.

Если Федор Петрович и не говорил всего этого, то это было ясно и без слов. Достаточно было взглянуть на его сосредоточенный вид, на его огромный рюкзак, чтобы понять, что не на прогулку ведет он группу, но в поход, всегда в поход, сегодня, может быть, не такой опасный и сложный, а завтра, как знать.

И за это ценили его в группе. Ценили и признавали неизменным своим руководителем, неизменным своим лидером. Ценили и терпели, несмотря на причуды и деспотизм. Все терпели, все принимали, с одним только не могли примириться: со слишком ранними выходами на маршрут.

"Ну, ведь это же - все-таки отдых. Это же - наш выходной день. Почему же нельзя выйти попозже?!"

Но здесь (так же, как, впрочем, и во всем остальном) Крюков был неумолим, и электричек, позднее, чем 9.00, для него, кажется, просто не существовало. И однажды группа взбунтовалась: все объединились, все сговорились и на привале предъявили Федору Петровичу ультиматум - сбор не раньше, чем в 10.00. Или - ходи один.

И Крюков смолчал, не посмел возразить против мнения коллектива, побоялся оказаться в изоляции, смолчал и помрачнел и за весь остальной путь не сказал ни слова. И всем стало немного не по себе - сломили Крюкова, и все-таки все ликовали - коллектив победил, восторжествовал *vox populi*.

Неясно было только, насколько победил, насколько восторжествовал. И потому, когда при расставании было объявлено, что в следующее воскресенье поедут с Савеловского вокзала до станции "Морозки" поездом... Федор Петрович склонился над расписанием, у всех дух перехватило: "Ну, 10.30! Ну, 11.20"... "Поездом 8.40. Сбор у пригородных касс в 8.25".

- Федор Петрович, но мы же решили!

- Да, там, вроде, у касс сейчас какие-то заборы понастроили. Так что, в случае чего, в четвертом вагоне от конца. Салют.

Я, кстати, ничего не сказал о его профессии. Он - инженер-электрик, но по призванию, конечно, турист. "Турист, *par excellence*", как сказал бы наш старый знакомый Олег Моисеевич Барен, любитель употреблять иностранные словечки и тем на мгновение повергать членов группы в молчание и недоумение - как тут поступить: сделать вид, что все понятно и закивать, или спросить попросту, что, мол, это значит. Молчание прерывает Варя: "Пар что?" - "Ах, милая Варя, *par excellence*, то есть по преимуществу. Ну, вы же, я думаю, согласитесь, что в первую очередь Федор Петрович все-таки великий турист, а уж затем, так сказать, Фарадей, Гальвани... какие еще есть великие физики-электрики... хорошо бы, знаете, кого-нибудь из отечественных..."

Олег Моисеевич - на вид полная противоположность Федору Петровичу. О внешности его у нас уже был случай упомянуть в предыдущем рассказе. И, хотя все туристские причиндалы - ковбойка, кеды, рюкзак - все при нем, но все это как-то разболтано, неподтянуто, неприлажено. Даже представить себе нельзя, как выглядела бы эта расхлябанная фигурка где-нибудь, скажем, на ледовом склоне. Впрочем, ни на ледовые, ни на снежные, ни на скальные и вообще ни на какие склоны Олег Моисеевич не ходок. Он - любитель подмосковных походов. Вот здесь, поспешая за Крюковым, перепрыгивая с кочки на кочку и почти ни на минуту не закрывая рот, здесь он в родной стихии. "А все эти склоны, ледопады, ледорубы... нет, милый Федор Петрович, это не для белых людей". Я хочу еще раз вернуться к личности Федора Петровича, он вполне того заслуживает. Я не хочу, чтобы сложилось о нем представление, как об упрямце и самодуре, и хотя, конечно, как говорится, не без этого, но все же не это в нем главное. Федор Петрович - лидер, и, как настоящему лидеру, ему присуща способность притягивать к себе людей самых разных, притягивать и общаться с ними, проявляя порой деспотизм, а порой, напротив, широту и терпимость.

Так, например, однажды, когда часть группы отеклась от него и стала под другие знамена, а затем, хлебнув горькой чаши, вернулась назад, вы думаете, он злился или мстил - ничуть. Он и бровью не повел, когда в очередной раз увидел блудных детей, собравшихся все как один с виноватым видом без опозданий, без пререканий, у пригородных касс такого-то вокзала. "Так, все в сборе? - сказал он, - пошли". И когда на привале в разговоре Таточка вдруг упомянула, что вот, мол, "в прошлый раз, когда мы не с вами ходили" (сказала и сразу осеклась - "зачем это я вспомнила", и все подумали - зачем это она), Федор Петрович повернул голову и спросил удивленно: "А вы в прошлый раз не со мной ходили? А я что-то не заметил, что вас не было". Хитрец! Все-то он заметил, все-то учел и, повторяю, не только не мстил, но как отец, обрадованный возвращением сына, особенно был благостен, особенно расположен, и на следующий раз

маршрут объявил, всей группой самый любимый, и сбор назначил в 9.30, так что и барашка заколол и пир уготовил. Впрочем, этой поблажкой все и ограничилось.

2.

Итак, группа идет по тропке, кругом елочки, березки, небольшие дубки, рябинки, высокие сосны с высохшими нижними ветками, ландыши, к сожалению, уже отцвели, но много Иван-чая, калины, шиповника, кое-где попадаются ягодки не совсем еще спелой земляники. Кругом щебечут овсянки, славки, поползни, синицы - кто их разберет, то ли дело кукушка - тут не спутаешь. До первой высоковольтной линии отсюда рукой подать, а в авангарде группы, состоящем из Крюкова, Барена, Клавы и Кирилла (о Кирилле я расскажу чуть позднее) идет обсуждение одного из самых животрепещущих вопросов: надо ли вступать в брак. Проблема эта обсуждается в группе довольно регулярно в связи с тем, что Клава дочь, девица вполне уже взрослая, никак не может найти "по сердцу друга".

Для Клавы это, можно сказать, вопрос первостепенной важности, а для Олега Моисеевича - всего лишь предлог, чтобы высказать соображения, про которые, как обычно, нельзя толком понять - правда он так думает или дурака валяет.

- Ах, милая Клава, знаете ли вы, что такое брак? Есть ли у вас на этот счет достаточно реалистическое представление?

Клава пожимает плечами.

- Не понимаю, о чем вы говорите. По-моему, все знают, что такое брак.

- Да знать-то знают, но часто не отдают себе в этом ясного отчета.

- Ну, а что же, по-вашему, это такое?

- Что такое брак? Я вам сейчас объясню. Брак - это, в первую очередь, борьба за власть.

Борьба за власть, которая начинается сразу же после загса и длится в течение всей супружеской жизни. Она может не привести к чьей-либо победе, и тогда отношения между супругами носят характер непрерывных ссор и примирений. Но в большинстве случаев, все же одна из противоборствующих сторон быстро одерживает верх, полностью подавляет другую, и тогда ординарный брак, который, как я уже сказал, есть постоянная череда конфликтов, перерастает в, так называемый, счастливый брак, в котором царит мир и согласие.

Клава пожимает плечами, на лице ее появляется нетерпеливое и несколько брезгливое выражение, она явно принимает это рассуждение всерьез.

- Ну, я с вами совершенно не согласна. Я знаю много случаев, когда люди прекрасно ладят друг с другом и никто никого не подавляет.

- Видите ли, милая Клава, вы говорите о внешней, так сказать, поверхностной стороне, а пружины, которые управляют отношениями между людьми, запрятаны значительно глубже. Умная жена может безраздельно управлять мужем, создавая видимость покорности и подчинения... С мужчинами обычно дело обстоит иначе. Мужчины изначально более закомплексованы, в браке они самоутверждаются, поэтому, когда властвуют они, то эта власть носит более откровенный и более грубый характер.

- Ну, а интересно, как вы с этой точки зрения оцениваете свой брак. У вас кто кого подавляет?

Олег Моисеевич даже остановился и, повернувшись к Клаве, всплеснул руками, так, видимо, удивил его этот вопрос, и Крюков, сразу не сообразив, из-за чего произошла задержка, тоже остановился, но затем, поняв, что это просто болтовня, махнул рукой и пошел дальше.

- Ну, что вы, милая Клава, какой разговор может быть обо мне. Когда мне случалось выходить на встречу с противником, а вы знаете, что мне случалось это делать два раза, то я еще с другого конца поля размахивал белым флагом, чтобы не дай бог...

К ним присоединяются Лев Михайлович, Тата, Нина и Варя.

- А где же Федор Петрович?

- Федор Петрович-то, как где? Впереди, на боевом коне.

- Ну, так пошли, почему стоим?

Двигаются дальше.

- Олег Моисеевич, - вступает в разговор Лев Михайлович, - но если все обстоит так, как вы говорите, то ваш первый брак должен был бы быть вполне счастливым, почему же вам пришлось выходить на поле боя второй раз?

Надо сказать, что не всем этот вопрос показался верхом деликатности, что, впрочем, часто относилось к замечаниям, которые делал Лев Михайлович. Причем, спроси такое Варя или Клава, никому не показалось бы то бестактным, но Лев Михайлович - заведующий кафедрой, профессор, мог бы, казалось... Ну, да бог с ним, Олег Моисеевич, во всяком случае, нисколько не смутился.

- Видите ли, Лев, Михайлович, он и был счастливым. Брак был счастливым, но я, я был глубоко несчастлив. Несчастлив в счастливом браке. Что поделаешь, так бывает.

- Ну, это уж ерунда какая-то, - сказала Клава, и вся компания вышла на высоковольтную линию, где их подждал Федор Петрович.

3.

От первой до второй высоковольтной линии примерно с километр. Позади остается прудик, поросший у берегов камышом и покрытый тиной, который мог бы навевать поэтическое настроение, если бы не торчащая из воды крышка колеса какого-то грузовика. Слева за лесной завесой просвечивает поле, за которым временами слышен шум железной дороги. Тропинка вьется между сосенками с высохшими стволами и ветками. Зрелище этого торчащего в разные стороны хвороста наводит Федора Петровича на мысли о том, как в высокогорье решается проблема заготовки дров для костра. Мыслями этими он делится с идущим рядом с ним Кириллом, который делает вид, что слушает, а на самом деле... Кириллу тридцать с небольшим. Он среднего роста, густые темные волосы откинута назад, на узком, красивом лице с правильными чертами печать задумчивости и меланхолии. В манере и движениях его мягких и приятных какая-то неуверенность и скованность. Впрочем, может быть, это просто потому, что в группе он новичок. Он еще не причастен историям, анекдотам, ритуальным шуткам, порожденном длительным общением друг с другом, а отсюда, наверное, и скованность, усугубляемая обстоятельствами, о которых пойдет речь ниже. В отношении к нему другие члены группы проявляют особую внимательность, несколько не соответствующую раскованному и немного фривольному тону, который царит в группе.

Кирилл работает научным сотрудником в каком-то научно-исследовательском институте, но главный его интерес - это занятие литературой: он пишет рассказы, повести, притчи, эссе, увы, не ставшие еще достоянием широкой публики - все издательства, в которые он относит свои произведения, хотя и находят в них известные достоинства, но все же упорствуют в отказе их публиковать.

- Я недавно написал рассказ, который кончается тем, что герой умирает от инсульта, отнес его в журнал "Знамя". Мне его вернули под тем предлогом, что у них уже был в этом году рассказ про инсульт, - сказал Кирилл.

- Ах, милый Кирилл, я понимаю редакцию этого журнала. Герой не должен умирать от инсульта, в этом есть что-то не *comme il faut*. Герой, знаете ли, должен побеждать - в этом его основная функция, - сказал Барен.

- Другой рассказ мне вернули из журнала "Новый мир" - сказали, что он по манере напоминает Чехова.

- И опять-таки я их понимаю. Видите ли, Кирилл, я не читал ваших произведений и надеюсь, что в ближайшее время вы дадите мне возможность исправить этот пробел в моем литературном образовании... да, так вот, хотя я их еще и не читал, но по тому, что вы рассказываете, чувствую, что они написаны в несколько пессимистическом стиле, с налетом декадентства. Это, может быть, само по себе и неплохо, но это не то что сейчас нужно.

- Скепсис и разочарованность себя, действительно, как-то исчерпали, в литературе начали повторяться одни и те же темы, интонации, сюжетные ходы. Надо взбодрить атмосферу. Я чувствую, что именно этого ждут от вас журналы, куда вы относите свои произведения, чувствуют в вас недоюжинный талант и ждут... положительного героя? - сказала Клава.

- Совершенно верно, милая Клава, совершенно верно, они ждут положительного героя, и их можно понять.

Кирилл разводит руками: "Ну, где же его взять?"

- Ну, как где взять?! Милый Кирилл, оглянитесь вокруг. Вон идет Федор Петрович, ну разве в нем есть что-нибудь упадническое? Напоминает ли он вам Дядю Ваню или одну из трех сестер? Ничуть. И уж, во всяком случае, такой человек не позволит себе умереть от инсульта. Или возьмите Клаву, или Варю, или, на плохой конец, черт подери, меня.

Кирилл, я считаю, что положительные герои просто окружают, теснят вас. Пишите с натуры!..

Итак, его произведения пока еще не публикуют. Хотя, некоторые люди, читавшие его рассказы (особенно это относится к лицам женского пола, знакомым с Кириллом лично) считают, что будь эти вещи изданы, он вошел бы в первую десятку писателей современности. Кто знает, может, так оно и есть, но сейчас не об этом.

Кирилла привела в группу Клава, которая любит покровительствовать и оказывать протекцию. Под большим секретом узкому кругу людей она сообщила, что Кирилл находится в угнетенном состоянии духа, и его надо ободрить. Причина угнетенности - любовь. Он влюбился в одну молодую даму (и она, естественно, в него), которая замужем за человеком значительно ее старше, очень ее любящим и не слишком здоровым.

Считается, что романа у Кирилла с этой дамой нет, он ходит к ним в дом, и этот пожилой человек, кажется, даже является одним из поклонников его литературного таланта. "В общем, там все очень непросто, парень страдает, и его жаль".

- Э-э-э, милая Клава, учитывая внешность и возраст Кирилла, я уже не говорю о других его несомненных достоинствах, мне кажется, что жалеть надо не его, а этого пожилого и, судя по всему, весьма достойного джентльмена.

- Ну, его я не знаю, а Кирилла мне жалко.

- Может быть, имеет смысл с ним поговорить? У меня есть некоторые соображения, так сказать, общего характера, которые, как мне кажется, могли бы его заинтересовать.

- Олег Моисеевич, я же вас предупреждала, что это я вам рассказала под большим секретом. Если вы проболтаетесь, я вас просто убью.

- Ну что вы, милая Клава, вы же знаете: я - могила, информация через меня не проходит. Но вы же сами сказали, что Кирилла надо ободрить, вот я и подумал, что мог бы, ссылаясь на примеры из литературы и на свой скромный опыт, вернее даже не на свой - какой у меня опыт - а на наблюдения над моими друзьями и знакомыми, убедить его в некоторых преимуществах адюльтера.

- Да говорю, нет нам никакого адюльтера, ничего нет, и хватит об этом.

- Ну, хватит - так хватит.

Группа же тем временем вышла на широкую поляну, где и расположилась на отдых неподалеку от источника.

4.

Это еще не настоящий привал, а так - завтрак на траве. Дело движется к полудню, солнышко припекает, птички приумолкли, бабочки летают, комарики покусывают. Одно слово - благодать.

Обсуждается происшедшее за неделю: кто что видел, кто что слышал, кто где побывал. Варя сокрушается, что забыла рыбу, которую приготовила вчера специально для сегодняшнего похода. Лев Михайлович подсаживается к Олегу Моисеевичу.

- Я пытаюсь все вспомнить анекдот, который вы в прошлый раз рассказывали.

Олег Моисеевич расплывается в улыбке и говорит:

- Ах, вот оно что. Ну, это я вам сейчас напомним.

Он откидывается назад, так что немного отдаляется от остальной компании, которая сгрудилась вокруг расстеленной на траве клеенчатой скатерти, и, слегка жестикулируя левой рукой, что-то говорит вполголоса. Лев Михайлович сразу же начинает кивать.

- Да, да, это я помню, а вот что ему второй-то карлик отвечает?

Олег Моисеевич приближает губы к уху Льва Михайловича и шепчет. У того сразу же брови взлетают вверх, глаза расширяются, и весь он начинает сиять.

- Ага, верно, верно, ха-ха-ха...

- Молодые люди, - говорит Нина, - а в обществе шептаться неприлично. Тем более, что то, из-за чего вы шепчетесь, все равно слышно, а суть ускользает, так что получается вдвойне непристойно.

На другом конце стола разговор носит более серьезный характер. Клава смотрела в театре Вахтангова "Короля Ричарда III", и суждение ее, как всегда, категорично: "Дрянь, как и все пьесы Шекспира".

- Ульянов, конечно, играет неплохо, но все это настолько не естественно, никому не веришь, ни за кого не переживаешь... Убил ее мужа и тут же к ней сватается, и она сначала его ненавидит, а через три минуты уже соглашается идти за него замуж. Чепуха. Да я вообще не понимаю, почему Шекспира считают таким великим писателем. Все эти Гамлеты, Макбеты - одни ужасы какие-то.

- А я лично, - вступает в разговор Кирилл, - Макбета очень люблю. Пожалуй, это вообще одно из моих самых любимых произведений.

- Макбет? Это он там и свою мать и детей убил?

- Да нет, этого не было.

- Ну, все равно какой-то противоестественный злодей.

- А я не считаю Макбета злодеем. По-моему, он самый обычный, можно сказать, слабый человек.

- Э-э-э, милая Клава, не передадите ли вы мне вон тот кусочек сыра? Благодарю вас. Так вы, Кирилл, не считаете Макбета злодеем? Это нетривиальная точка зрения. Если можно, развейте ее.

Такое предложение для Кирилла несколько неожиданно, он мнется, пытаясь собраться с мыслями, опускает глаза, пожимает плечами, затем начинает неуверенно:

- Ну, вы помните, как там все было-то? Злые духи предсказали ему ряд вещей, и эти предсказания начали сбываться. Сначала от него ничего не зависело - все сбывалось само, но ему было предсказано, что он будет королем, а для этого ему надо было совершить убийство, одно единственное, - но убийство, - нарушить заповедь, и вот с этого, собственно говоря, все и началось.

Клаве это не кажется убедительным.

- Как же одно-единственное? Он же вроде какой-то военный был. Он, наверное, и до того уже перебил, будь здоров, сколько!

- Да, он был полководец. Но он убивал на войне, врагов - это совсем другое дело. А здесь ему надо было убить незащитного человека, короля, который приехал к нему в гости. И он очень сомневался и, наверное, не сделал бы этого, но его уговорила жена. Она его накрутила: убедила, что другого такого случая не будет, что если он это не сделает, то он - не мужчина, ну и так далее... Так что, это - библейская ситуация: дьявол вверг его в соблазн, а женщина подтолкнула.

- Ну, конечно, у вас всегда женщины во всем виноваты.

- Да нет, не всегда... Ну вот, так что по натуре своей он не был злодей, но он позволил себе то, что не должен был позволять, а дальше от него, можно сказать, почти ничего и не зависело. Дальше уже началось наказание за то единственное преступление, которое он совершил. Одно убийство породило другое, то в свою очередь - еще одно, и это все покатило, как снежный ком, он уже не мог остановиться, стихия убийства его захватила: если бы он перестал убивать, то тут же убили бы его самого... После того, как он это себе позволил один раз, он уже как бы не принадлежал себе, стал превращаться в другого человека, с другим сознанием... и по мере того, как погружался в убийство, он все больше и больше терял вкус к жизни... То же самое произошло и с леди Макбет, она, в конце концов, просто не выдержала и сошла с ума. А Макбет, он с ума не сошел, но полностью потерял всякий интерес к жизни. Помните его последний монолог? Это слова предельно опустошенного человека, которому все безразлично: "Что жизнь? Тень мимолетная, фигляр, неистово шумящий на помосте и через час забытый всеми; сказка в устах глупца, богатая словами и звоном фраз, но нищая значением!"

Кирилл умолкает, смущенный тем патетическим уровнем, на который неожиданно поднял застольную болтовню, и все молчат, то ли обдумывая услышанное, то ли не зная, что сказать.

Молчание прерывает Варя. Она хлопает себя по лбу: "Боже мой!" Все поворачиваются к ней: "Что, Варя, что?"

- Да я все об этой рыбе думаю. Как же это я ее забыла? Ведь я ее вчера весь вечер готовили. Такая вкусная была рыба. Вот дура старая!

Федор Петрович поднимается с травы.

- Так, хватит перекусывать, давайте собираться. Пошли.

5.

Группа идет по просеке, которая тянется до Подушкинского шоссе. Олег Моисеевич высказывает Кириллу свои соображения по поводу "Макбета", затем поворачивается к Крюкову.

- Э-э-э, милый Федор Петрович, что это за диковинная птица перелетела с ветки на ветку.

- Сорока.

- Я никогда не могу понять, как ее можно отличить от сойки.

- Это дело нелегкое. Они выглядят почти одинаково. Отличие только в форме тела, окраске и голосе.

- Боже мой, как я завидую людям, которые умеют различать следы зверей, голоса птиц. Почему я лишен этого чудного дара?

- Да потому, что вы не слушаете ничего, кроме собственного голоса. Помолчите хоть минутку, послушайте, как шумит лес.

- Да чего же вы это, однако, тонко и деликатно заметили.

И Барен замолкает, ни капли, впрочем, не обидевшись.

Ну что же, пожалуй, помолчу и я и дам тебе, читатель, возможность самому пройти по этой прекрасной просеке. Здесь недалеко, полтора, от силы - два километра. Выбери себе темп... Или можно сделать так: пускай кругом все будет бело, и на снег лягут голубые мартовские тени. Солнце заходит почти перед тобой, так что твоя тень будет догонять тебя. Оттолкнись получше, и пускай мелькают вокруг тебя ельники, березняки, поленницы дров, кучи хвороста, запорошенные снегом, телеграфные столбы, пересекающие просеку... Быстрее, быстрее... Когда едешь быстро, то время идет вспять, и воспоминания оживают. Кажется, что если еще набрать скорость, то можно вспомнить что-то, что было совсем давно, коснуться... здесь аккуратнее, этот овражек с подвохом, не иди на параллельных лыжах, не повторяй Нининой ошибки, за которую ей влетело на Алтае, когда она сразу сломала обе лыжи, проходи овражек, как учит Федор Петрович, "вразножку"... коснуться самих истоков бытия. А главное, нюхай, вбирай в себя раскованный мартовский воздух. Чувствуешь запах деревьев, запах талого снега? А этот новый, только что появившийся запах чувствуешь? Знаешь, что это за запах? Это - асфальт: запах дороги, запах перемен, запах, вносящий особый смысл во все, что тебя окружает, ибо всякое состояние становится особенно притягательным, когда чувствуешь его непрочность.

Асфальт - это Подушкинское шоссе - половина дороги.

6.

Подушкинское шоссе идет по водоразделу, то есть, по высокому месту, а просека, которая отходит от него в сторону Усова, в начальной своей части заболочена, как низина.

Причина тому, очевидно, заключена в подземных ключах, которые заставляют влагу постоянно удерживаться на почве, а туристов постоянно промачивать ноги, потому что никому ведь не придет в голову надевать сапоги, когда идешь в поход по Подмосковию в солнечный июньский день. Впрочем, промоченные ноги большинство членов группы не особенно беспокоят, так как солнышко в зените и можно легко просохнуть на ходу.

Кругом растет папоротник, крапива, кусты малины, черемухи, но главным образом, орешник. Просека представляет собой как бы трехъярусный коридор, партер которого обрамлен орешником и низкорослыми кленами, бельэтаж - осинами, елями и березами, а верхний ярус замыкается вершинами дубов. Дубов здесь вообще довольно много, и некоторые из них на редкость хороши. Дубами окаймлена и поляна, которой просека заканчивается километра через полтора.

Я хочу еще раз вернуться к вопросу о промокших ногах, потому что не все относится к нему настолько уж безразлично. Лев Михайлович, например, настаивает, чтобы на поляне сделали остановку и просушились, так как всем известно, что мокрые ноги - это прямой путь к простуде, а Варя так просто не может понять, как настоящий турист способен обращать внимание на такую ерунду. Но Варя вообще - человек беспечный. Вы думаете ей сколько лет? Ну, ну... нет, немного ошиблись. Она на три года старше Федора Петровича, стало быть - 68. Всю жизнь проработала она бухгалтером на том предприятии, где Федор Петрович - инженером. "Романтика походов" манила ее всегда, но отдалась ей сполна смогла она только, выйдя на пенсию. У нее никого нет. Так получилось: замуж она не вышла, детей не завела, всю жизнь возилась с племянником, а вырос он... говорить не хочется. Но и это ее не сломало. Широкое, загорелое лицо ее морщинисто, волосы коротко подстрижены, нос курнос, а глаза горят молодо и лихо. Красивой ее не назовешь, но ведь в таком возрасте, читатель, и ты, небось, не Аллен Делон.

Она к ковбойке с короткими рукавами, в спортивных брюках, на боку у нее болтается фотоаппарат, как она есть страстный фотограф. Вы уже, наверное, догадались, что другое

ее увлечение - кулинария, и я охотно верю, что забытая рыба (вот досада!) была действительно вкусна.

Если Варя какую заповедь и нарушала, так это - "Не сотвори себе кумира", ибо существа более совершенного, чем Федор Петрович Крюков, она представить себе не могла. Вот уж кто никогда не изменял ему, никогда и помыслить не мог переметнуться в другой лагерь ни из-за раннего вставания, ни из-за трудности маршрута. Всю жизнь величала она его только на "вы" и только по имени-отчеству. Федор Петрович же, тоже не любивший фамильярности, в минуты особого душевного расположения говорил: "Варюша, сделай, пожалуйста, то-то и то-то", - и она млела.

У меня будет еще случай упомянуть о Варе, сейчас же свернем с поляны направо (Льву Михайловичу так и не дали просушиться) и спустимся вниз под горку в котлован, именуемый Одинцовским оврагом. По дну его протекает речушка, которую и речушкой-то, собственно, не назовешь, так - ручеек, и, тем не менее, этот ручеек придает всему ландшафту весьма характерный вид, воспроизводя в миниатюре чередование "крутцов" и "плосок", столь типичное для берегов больших наших рек. Так, правый берег ручейка, с которого группа сейчас спускается, весьма крут, а левый - полог, травянист и так и манит усталого путника присесть, прилечь, возвести очи свои к небу и, чувствуя близость гор, близость воды, близость вечности, погрузиться в то безмятежное состояние, которое древние греки называли атараксией и ценили превыше всех благ жизни. Одинцовский овраг! Как передать его очарование... Говорят, если ты не видел гробницу Медичи во Флоренции, то много потерял в жизни. Не знаю, не видел. Но если ты не посетил Одинцовский овраг, то что толку, что ты видел гробницу Медичи.

Лев Михайлович, кстати говоря, вполне со мной согласен, а он-то уж видел и гробницу Медичи и Notre Dame de Paris и в Лувр входил также запросто, как ты, читатель, в Третьяковскую галерею. Лев Михайлович - краса и гордость группы: профессор, заведующий кафедрой автоматике (чего и где толком не знаю), мужчина видный, представительный, еще не старый, но уже, конечно, и не юнец (лет так 58), с широкой спиной, большим с горбинкой носом, слегка оттопыренными ушами - чем-то вообще внешностью своей напоминающий лося. Кстати говоря, в компании преферансистов, когда в 50-х годах игра эта вновь вошла в моду его кличка и была - лось. Вот уж поистине - человек, которому можно позавидовать: здоров и бодр, достиг высот в избранной им профессии, удачно женат, имеет прелестную дочь и скоро, видимо, станет не старым еще дедом... объездил весь мир... ну что еще надо?

Но взгляды поглубже в этого вызывающего зависть человека, *auditorum et altera pars* - выслушаем и другую сторону... И в качестве этой *altera pars* возьмем Олега Моисеевича Барена, который-то уж напрасно ни о ком доброго слова не скажет, и тем самым получим, так сказать, объемное восприятие личности нашего героя, к чему, естественно, и стремится всякий добросовестный автор. Итак... "Э-э-э, видите ли, милый читатель, когда я говорил, что человек этот прошел путь, довольно, впрочем, обычный, от способного ученого до бездарного администратора, то я, собственно говоря, не имел в виду непосредственно нашего друга Льва Михайловича, хотя, конечно, некоторые ассоциации здесь невольно возникают, тем более, что..." - ну и так далее, это уже не существенно - первая ложка дегтя влита.

Винить Льва Михайловича не в чем, просто слишком уж благополучно сложилась его научная карьера. После окончания института был он оставлен в аспирантуре на кафедре, как только защитил кандидатскую диссертацию, получил место доцента, кандидатская диссертация была основой его докторской, защитив ее, становится он профессором, а тут как раз умирает заведующий кафедрой, и кому же, как ни Льву Михайловичу, занять его место. Течение, можно сказать, само несло его, так что ему нужно было лишь подгрести, да подруливать временами, чтобы объехать тут - мель, там - риф. И течение вынесло его на берег, который многим научным сотрудникам кажется землей обетованной. Такой она,

наверное, и была, только Лев Михайлович - человек не без способностей, добрый, с ленцой, совершенно лишенный дара администрировать, принимать решения, заставлять людей делать не то что они хотят, а то, что требуют обстоятельства, почему-то в этом краю "лимонных рощ в цвету" вдруг почувствовал себя крайне неудобно. То пересматривай учебные программы, разрешай конфликты между перессорившимися сотрудниками кафедры, то проводи сокращения, то посылай студентов на уборку овощей; сегодня - заседание в деканате, завтра - ректор срочно созывает всех заведующих кафедрами. А сил-то не так уж много, а время-то уходит. Конечно, почестей и знаков внимания много: он - член ряда ученых советов, член проблемных комиссий, член редколлегии ведущих журналов (хотя в члены-корреспонденты Академии наук его, увы, пока еще не избрали), он... да что там говорить... но наука-то идет вперед, и многое из того, чем она живет сегодня знает он только понаслышке. Вот входит он в конференц-зал, где идет научный доклад, ему бы сесть где-нибудь на задний ряд, послушать спокойно, вникнуть, поразмыслить, а ему тут же: "Лев Михайлович, Лев Михайлович, вы куда? Пожалуйста, сюда", - то есть - в президиум, а там разве поразмыслишь. Или, например, организуется съезд. У него материала-то на сообщение еще не набралось, а ему - ведущий доклад, на пленарном заседании.

Дела же кафедры начали все больше отходить на второй, на третий план, и все чаще стал он перепоручать и чтение лекций, и ведение семинаров, и решение организационных вопросов своим подчиненным, более молодым, более энергичным... Перепоручал, но в душе корил себя и за это и за то, что не находит времени для серьезного занятия наукой. И вот от всего этого свила в душе его гнездо черная птица с пресловутым названием - несоответствие занимаемой должности. И стало ему казаться (может быть, только казаться), что все вокруг, и сотрудники кафедры, в первую очередь, хотя внешне и оказывают положенные знаки внимания, но на самом деле, не принимают его всерьез, думая, вероятно, что зачем, мол, к нему обращаться, когда он ничего толком не знает и ничего по существу не решает. И не только на работе, но и здесь, в группе, в походе чудилось ему то же пренебрежение и та же насмешка. Вот стоит он на лыжах на вершине Одинцовского оврага, ему бы сейчас пригнуться чуть-чуть и слететь вниз, вызывая зависть и восторг окружающих, так нет: духа не хватает, колени дрожат, а Таточка уже кричит откуда-то сбоку: "Лева, Лева, поезжай вот здесь, здесь полого, до той березы доедешь, а там можно лесенкой спуститься", - а снизу орет Крюков, скатившийся, конечно, по самому крутому склону: "Ну что, профессор, все труса празднуешь!" И вот, чтобы скрыть эту обиду, эту неловкость, надел на себя Лев Михайлович личину этакой величавой важности, этакой насмешливой пренебрежительности: "Ну, зачем вы мне это говорите, неужто я и без вас всего этого не знаю". Стал он отпускать реплики, делать замечания, не соответствующие, казалось бы, ни его положению, ни его воспитанию. И окружающие временами только дивились: "Что это он, не глупый, вроде, человек..."

На самом же деле глодала Льва Михайловича сплошь да рядом зависть, и к кому зависть - к собственным же аспирантам, которые, не задумываясь над глобальными проблемами, точно знают, какую ручку повернуть и на какую кнопку нажать; к жене своей, Татьяне Васильевне (именуемой в группе, как вы уже поняли, Таточкой), которая никаких особых высот в научной карьере не достигла, но работой своей увлечена до самозабвения. Таточка - специалист по архитектонике нервных клеток. В архитектонике нервных клеток она ориентируется безукоризненно, в жизни - намного хуже, на местности не ориентируется совсем... Но вернемся к мужу ее, Льву Михайловичу, которого она, кстати говоря, любит и почитает, можно сказать, безмерно... и правильно делает... ведь вот и я перечитал написанные строки и устыдился: ну к чему это? Зачем это я изошряюсь? Мною-то что движет? Делаю вид, что это - стремление к глубине и разносторонности в изображении характера, а на самом-то деле движет мною, наверняка, не что иное, как

зависть... Перед нами высокий представительный мужчина, ведущий специалист по автоматике (а может быть, даже и телемеханике), турист, правая рука самого Крюкова, человек лояльный, доброжелательный... ну что еще надо! Есть в нем кое-какие изъяны, конечно есть. А в ком их нет?

7.

Группа же тем временем прошла немного вдоль оврага и расположилась на привал на поляне, от которой идет покатый спуск к речушке. Собран уже хворост, воткнуты рогули для костра, потянуло уже дымком... За водой вызвалась идти Нина. Нине 52 года, по специальности она химик-синтетик, в молодости была, видимо, весьма миловидна, сейчас же излишне расплнела, за что и именуется (за глаза, конечно) "толстая Нина". "Толстая Нина" - коротко подстриженная блондинка в очках. Человек - мягкий, интеллигентный, совершенно лишенный и Вариной лихости и Клавиной категоричности, одинокий... Да, что-то мне тут начинает не нравиться: Нина одинока, у Вари никого нет, у Кирилла все как-то вверх ногами идет, у Федора Петровича тоже что-то никакой семьи не видать. Уж не прав ли был тот шутник, который сказал при виде группы (не нашей группы, а какой-то другой, но реплику эту почему-то запомнили и стали передавать "из уст в уста"): "Вон идут бодрящиеся неудачники..." Зло и, в общем-то, неверно сказано. Почему неудачники? И все-таки есть в этой реплике что-то, что заставляет задуматься... Нина спустилась к воде, поставила на траву два котелка и смотрит на излучину, которую образует в этом месте речушка, на бревно, переброшенное с берега на берег, на просвечивающие сквозь воду песок, камешки и водоросли... "Главное - это организовать послеоперационный уход, остальное от меня не зависит. Валентина Ивановна такой хирург, что на нее вполне можно положиться... но послеоперационный уход надо организовать. Кого попросить?..." ...на заросли крапивы, листья и стебли которой как будто тянутся к воде, на осинник, растущий на противоположном берегу... "Да, в сущности говоря, попросить можно любого - никто не откажет..." ...на тропинку, поднимающуюся на пригорок, на кусты орешника и калины, на дымок костра, выющийся над пригорком... "Можно Тату, она такой добрый человек, но она очень занята на работе, и Лева, и внук того гляди родится; можно Клаву, но она уж очень командовать будет, с другой стороны, может, это и неплохо..." ...на синеву, просвечивающую между высокими березками, растущими на пригорке, на облачко, пробирающееся между стволами этих берез... "Нет, лучше всего Варю. Варя - самый надежный человек. Она уж все сделает, как следует. Когда с ней поговорить? Может быть, сейчас? Нет, сейчас не стоит. Не надо ей портить поход. Когда приедем в Москву, в вестибюле метро отзову ее в сторонку, скажу, что нам надо посекретничать... Правильно, правильно, только Варю... И хватит об этом... Если бы меня завтра положили, то может быть, к концу недели уже бы прооперировали... Как же это случилось? Ведь когда в прошлом году сделали операцию, то сказали, что все благополучно... Может быть, это, все-таки, - ошибка..." ...на листья кувшинки, колеблемые течением, на водяного паучка, который вдруг начинает расплываться...

8.

- А я знаю, о чем ты сейчас думаешь, - слышит она сзади себя голос Льва Михайловича. Она быстро жмурит глаза, слегка встряхивает головой и нагибается к котелкам.

- О чем?

- Вспоминаешь, как кабаны выскочили.

- Как ты догадался?

- А я сам всегда, когда на те кусты смотрю, эту сцену вспоминаю.

А сцена была действительно впечатляющая. Годы два тому назад, в такой же примерно день, на этом же самом месте группа расположилась на отдых. Кто-то спустился к воде, кто-то возился с костром, кто-то просто так ничего не делал. И вдруг! Кусты на противоположной стороне речушки раздвинулись, и из них выскочил огромный кабан, за ним еще один, размером чуть меньше первого, следом - еще один, поменьше второго, потом третий, опять поменьше: и так - семь кабанов, пронеслись мимо группы так целенаправленно и стремительно, как будто мчались они в совершенно определенное место и времени у них было в обрез. Все обомлели, никто поначалу слова сказать не мог. Даже видавший виды Крюков, и тот только оторопело таращил глаза и качал головой: "Ну и ну". Когда немного оправились от потрясения, то начались возгласы: "Это же надо! Если бы они по этой стороне речки бежали, они бы прямо к нам в костер угодили". "Мне кажется, если бы я потянулась, то могла бы поросенка за хвост схватить..." Таточка спрашивала Льва Михайловича: "Лева, это - кабаны? Настоящие кабаны?.."

Надо сказать, что у Таточки была причина не верить глазам своим. То, что она - простой и доверчивый человек, не всегда шло ей на пользу. Бывало, что эти качества, хорошо известные и ценимые в группе, оборачивались как раз против нее. Вот, например, такой случай. Шла однажды группа с Пахры на Домодедово с привалом на речке Рожайке. День был с утра дождливый, но после обеда распогодилось, и облака, освещенные вечерним солнцем, сгрудились на горизонте. Таточка до этого момента обсуждавшая с Клавой какое-то литературное произведение, которое ей очень понравилось, а у Клавы, наоборот, вызвало резко отрицательное отношение, подняла глаза к небу, увидела облака, очень удивилась и спросила у Федора Петровича:

- Ой, что же это такое?

- Как что? - невозмутимо сказал тот. - Горы, что же еще?

- Горы? Но почему же я их раньше никогда не замечала?

- А что ты, Тата, вообще-то вокруг себя замечаешь? - строго сказал Федор Петрович.

Тата, зная за собой эту слабость и привыкшая слышать упреки подобного рода, не нашлась, что возразить, но продолжала удивляться.

- Но какие же здесь горы?

- Как какие? Московский хребет... Тянется от Домодедовского плато на северо-восток, постепенно понижается... Ты в "Туристе" тоже никогда гор не замечала?

- Нет, почему? В "Туристе" я знаю: "Щукловка", "Парамоновка".

- Ну вот, слава богу, хоть это замечала. А откуда они взялись задумывалась? Нет? А ведь это как раз и есть отроги Московского хребта, своего рода предгорье. А обращала внимание на то, какая в Пахре вода холодная.

- Да, конечно.

- А почему знаешь?

- Нет.

- Да все потому же. Пахра вытекает из Пахрянского ледника, отсюда километров в пятидесяти.

- Э-э-э, милая Таточка, - ввязался случившийся поблизости Олег Моисеевич. - Я вполне вас понимаю: вас смущает снег. Вы привыкли видеть хребет в форме нагромождения скал и камней. Снег действительно здесь бывает редко. Но вы заметьте, какая дождливая была нынче весна.

Таточка готова была поверить. Она смотрела, как замороженная, на могучие бастионы и контрфорсы Московского хребта, но какое-то сомнение в ней все же шевелилось, и она повернулась к мужу и спросила: "Лева, это - правда?"

И Лев Михайлович скорчил брезгливую мину и махнул рукой, что должно было означать: "Да мелят они всякий вздор, а ты и слушаешь". Но Таточка поняла этот жест иначе: она решила, что снова спрашивает что-то такое, что все вокруг давно уже знают, а она одна до

сих пор почему-то не в курсе дела... и поверила, и затаила восторг, и, приехав домой, позвонила подруге и сказала, что прошлись сегодня очень хорошо, по Павелецкой дороге, сначала, правда, был дождичек, но потом разъяснилось и горы были очень хорошо видны... Такая красота... Какие горы? Ну, как какие. Московский хребет... Откуда взялся? Как откуда? Тянется с Домодедовского плато на восток или на северо-восток... Кто сказал? Федор Петрович, Олег Моисеевич... "Да они издеваются над тобой, Тата, а ты и веришь всему".

Как Таточка обиделась! На всех обиделась, и на мужа своего в том числе, и не разговаривала с ним долго... минут, наверно, сорок.

Вот и теперь, когда эти кабаны выскочили из кустов, вытянувшись в шеренгу от огромного до малюсенького, выскочили и бросились, как угорелые, куда-то в неизвестном направлении, Таточка не могла довериться увиденному... По виду своему существа эти действительно вроде бы походили на кабанов, и все вокруг охали, кажется, совершенно искренне, но ведь как знать: может быть, это опять очередной розыгрыш, может быть, это, например, какая-нибудь туристская группа вырядилась в кабанов и шастает по Подмосковию, и все об этом знают, и по телевизору это показывали, и в "Литературной газете" про это писали, а она одна опять почему-то в неведении, расскажет кому-нибудь, и снова ее на смех поднимут. И Таточка заглядывает в глаза мужу и спрашивает его с особым пристрастием: "Лева, ну скажи честно, это кабаны? Самые, самые настоящие кабаны?"

9.

Группа же тем временем снялась с привала и движется по просеке, которая начинается от Одинцовского оврага, идет слегка в гору через водораздел, а затем спускается в неширокий и неглубокий Барвихинский овраг, который я не буду описывать, потому что в этой своей части он представляет собой просто ложбинку, а тянется, в основном, направо, давая многочисленные отроги, один из которых хорошо известен в Подмосковию, как "Овражек лесных диковин", затем овраг углубляется и уходит под решетку санатория "Барвиха", только мы его и видели. Группа же идет прямо, потом сворачивает налево, и вот перед нею - Усовский березняк... Признаюсь, что измарал уже ни одну страницу в попытках описать его красоту. Перечитываю и вижу, что все это совсем не то.

И поэтому вот, читатель, что я хочу посоветовать. Не ленись, сядь в электричку, от Белорусского вокзала это ведь всего сорок пять минут езды. Не надо выезжать рано, не обязательно слушать Крюкова: березняк хорош при любом освещении. Выходи по ходу поезда налево, вверх по косоугору, и вот перед тобой березняк. Конечно, это займет у тебя больше времени, чем, сидя в метро, пробежать глазами страницу текста где-нибудь в прогоне между "Курской" и "Комсомольской", но и удовольствие, честное слово, получишь намного больше.

И вот посередине березняка (это последняя небольшая остановка группы) на поваленном дереве сидит Кирилл Лапицкий и чувствует, что загнан в тупик. Он не видит ни просвета, знаменующего край леса, ни поляны, на которой расположилась группа, ни покачивающихся под ветром вершин берез, он ничего не видит, кроме тех мучений, которые обступили его и преградили дорогу вперед. Как мог он, больше всего в жизни ненавидящий (подобно Стендалю) неопределенность и двусмысленность, попасть в такое ужасное положение? Когда он познакомился с Галей там, в Минске, на конференции, когда так неожиданно вспыхнула их обоюдная симпатия, когда их сразу же так потянуло друг к другу, мог ли он предположить, какую петлю накидывает себе на шею? Она, действительно, сразу упомянула о том, что замужем, но ему показалось это чем-то нереальным, чем-то, не имеющим отношения ни к нему, ни к тому, что между ними

происходило. А что, собственно, между ними тогда происходило? Они гуляли по городу, он читал ей стихи, им хотелось быть вместе, и они были вместе. Целоваться они начали только, когда встретились в Москве, сразу же поняли, что делать это нельзя, и вот тут-то двусмысленность и началась. Вернее, поначалу он не воспринимал это, как двусмысленность. Ему показалось, что они нашли какую-то утонченную форму отношений, какой-то вид дружбы, особую прелесть которой придавали взгляды, которыми они обменивались, и прикосновения, которые себе иногда позволяли. В этот период она и привела его к себе домой и познакомила с мужем, который оказался намного ее старше - прямо-таки, пожилой человек - при других обстоятельствах, наверное, вполне даже симпатичный. Но только как-то однажды, уходя от них поздно вечером, Кирилл вдруг подумал о том, в каких она отношениях с этим симпатичным человеком, и мысль эта, войдя к нему в голову (а может быть, в какую-то другую часть тела, потому что то, что стало с ним происходить, очень мало отношения имело именно к голове), больше уже не покидала его. И, тем не менее, он продолжал ходить к ним, и этот чудаковатый пожилой человек с несколько странной, фамилией - Ширу, стал проявлять к нему какой-то особый интерес, сделался даже вполне, вроде бы, искренним поклонником его литературных произведений, стал вести с ним разного рода беседы на психологические и литературные темы. Но Кирилл воспринимал уже как бы в тумане и эти беседы, и беспомощные взгляды, которые Галя на него бросала, и даже поцелуи, которыми, несмотря на наложенный запрет, они стали все чаще и чаще обмениваться. Но она сказала, что уйти от мужа не может, что он не переживет этого, а стало быть, все это так и будет длиться... без радости, без надежды... Конечно, иногда что-то вдруг менялось, что-то происходило в нем самом, и наступило успокоение, как будто в болезни возникал перелом, и он уже предчувствовал выздоровление, но затем он снова шел к ним (зачем? зачем он это делает?), и все начиналось сначала. Вот и сегодня, когда Клава, видимо, прослышавшая, что с ним происходит, уговорила его пойти в поход, поначалу он чувствовал себя вполне прилично, что-то даже очень глубокомысленно рассуждал о "Макбете", так что Олег Моисеевич - самый тут, конечно, умный человек - говорил ему потом всякие комплименты, чем еще больше поднял настроение... Стало казаться, что Галя и чувство к ней, и эти визиты к ним в дом - все это иллюзия, от которой ничего не стоит избавиться... И вдруг на привале на него снова нашло, воображение начало работать, он увидел ее совсем рядом, стоящей у костра, такой близкой и, в то же время, недостижимой, вспомнил, что сегодня вечером обещал прийти к ним, почувствовал, как оплетается вокруг него, как затягивается паутина, в которой он трепыхается. Кирилл оглядывается вокруг. Его охватывает зависть ко всем членам группы. Как хотел бы он в этот момент поменяться с любым из них. Ну, вот хотя бы Федор Петрович, (который, кстати говоря, кажется, задремал, лежа на траве недалеко от Кирилла) - какие у него проблемы? Ему всегда все ясно. Или Клава - ей бы только командовать, или Олег Моисеевич - ему бы только порассуждать, или Нина... она, кажется, была чем-то больна, какая-то операция, что-то вроде даже нехорошее, но все это было давно, сейчас она, наверное, уже и думать забыла, вон, как она там резвится с Татой и Варей... А у него... Кирилл закрывает ладонью глаза...

10.

...А Федор Петрович, наоборот, открывает глаза, приподнимается на локте, смотрит на часы, удивленно поднимает брови, подносит часы к уху, трясет кистью, снова подносит часы к уху...

- Слушайте, сколько сейчас времени? - спрашивает он.

В ответ предлагается несколько вариантов, отличающихся друг от друга минуты на три. Федор Петрович вскакивает.

- Значит, если я за временем не слежу, то вам никому и дела нет. Поезд через пятнадцать минут. Быстро. Собирайтесь. Бегом.

Все ахают, наскоро запихивают в рюкзаки вещи, наскоро попрекают друг друга: "Я же тебе говорил". "А я что? Я думала, мы на следующей электричке поедем, вижу - руководитель не торопится"... "Быстрой, быстрой".

Вот они уже двинулись, надевают на ходу рюкзаки, оглядываются - не забыли ли чего, идут быстрым шагом, потом трусцой, до станции-то здесь, действительно, - рукой подать.

И я, пожалуй, не буду бежать с ними рядом, а воспользуюсь астральным своим телом (преимущество автора перед героями), обгоню их, поднимусь над вершинами берез на такую высоту, с которой мне сразу же откроется и косогор, спускающийся к платформа

"Усово", и букашки машин, ползущие по Рублево-Успенскому шоссе, и обрыв над Москвой-рекой, и замоскворецкие дали, и устье Истры, и Архангельское, и Николо-Урюпино, и Петрово-Дальнее, и, может быть, даже знаменитый Московский хребет, который виден, правда, только в ясную погоду. Я охватываю взором все эти просторы и опускаюсь на платформу "Усово", чтобы взглянуть, как приближается к ней наша группа...

Бегут, все бегут, - впереди Федор Петрович, за ним Кирилл, которому только что казалось, что хода вперед нет, но и он бежит и ему "дается дорога", за ним - Варя, Тата... не буду всех перечислять. Они уже совсем близко, уже поднимаются на платформу, начинают сразу же раздеваться... "Могли бы так и не бежать, еще четыре минуты". "Это на твоих четыре минуты, а на самом деле сейчас тронемся"... рассаживаются. "Кирилл, вы со мной не поменяетесь, я не могу сидеть против движения". "Конечно, ради бога".

Кирилл усаживается у окна, на дорожке появляется несколько человек, наверное, тоже какая-нибудь группа, они бегут вниз, хотя шансов успеть у них, увы...

"Как странно, - думает он, - ведь я ровным счетом ничего не имею против этих людей, почему же мне будет приятно, если они не успеют? И вообще, как все странно: после того, как сейчас пробежались, положение мое совсем уже не кажется мне таким безнадежным.

С чего это я вдруг так раскис: Галя так мила со мной, сегодня вечером я ее увижу, несомненно, она любит меня. Конечно, есть муж, но что поделаешь, Олег Моисеевич сказал бы "c'est la vie".

Раздается знакомое: "Граждане, наш поезд следует до станции "Москва-Белорусская". Остановки по всем пунктам. Просьба в вагонах соблюдать чистоту и порядок. Не проходите мимо..."

Толчок, и вот уже поплыли за окном: косогор, спускающаяся вниз дорожка, на середине которой остановилась группа людей, домишки, склады, железнодорожный переезд...

Давайте же простимся с нашими героями (с некоторыми, впрочем, совсем ненадолго) и проделаем мысленно в обратном порядке весь пройденный ими путь: вверх по косогору, сквозь березняк, который я так и не взялся описать, по просеке налево через Барвихинский овраг, по липовой аллее, в конце ее взмоём вверх и попарим немного над Одинцовским оврагом, потом по просеке через Подушкинское шоссе, вперед, вперед до высоковольтных линий: сначала до второй, а потом и до первой. Дальше, мимо покрытого тиной озера, по дороге, через волейбольную площадку, через овражек, по просеке, где густой ельник постепенно редет и переходит в березняк... и вот уже видны заборы и дома поселка, площадка, на которой зимой становятся на лыжи, Можайское шоссе... И вот уже электричка, останавливающаяся у платформы "Трехгорка", дает начало новому движению, и новые группы, проходя по тропинке, пересекают Можайское шоссе и углубляются в лес, чтобы решать свои проблемы, ибо есть проблемы, которые не решаются ни усилием мысли, ни напряжением души, а только движением, только сменой оврагов и просек, ельников и березняков, рассветов и закатов, только чередованием разговора и молчания; полян, залитых солнцем и набухших ветвей, по которым барабанит

дождь - движением, несущим в себе свой смысл и свое оправдание, движением, запечатленным в тысячах маршрутах, проложенных или еще неизвестных, пройденных или еще нехоженных, не названных или уже поименованных: Малино-Опалиха, Ходжах-Дагомыс, Фирсановка-Подрезково, Эдиган-Артыбаш, Ромашково-Раздоры, Трехгорка-Усово.

ЗАПИСКИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

I.

18. VII.

Наум Исаевич выписывается. Жаль: я уже к нему привык. Кого-то теперь ко мне поделят? Главное, конечно, чтобы не храпел.

Сегодня пошел шестнадцатый день, как здесь валяюсь. Говорят, что самое опасное - это две первые недели. Так что пока - тьфу, тьфу... Как же это моего нового врача зовут: Лариса Александровна, Лариса Алексеевна? Надо будет у тети Маши уточнить. Лет ей, наверное... двадцать. Впрочем, нет, двадцать быть не может. Ведь в институт когда поступают? Наверное, двадцать три, а может быть и побольше... Ведь Гале, когда мы с ней познакомились, сколько было?

Ростом только мала, а очки, по-моему, исключительно для важности носит. Что уж она в этих инфарктах понимает... а, впрочем, может, что-нибудь и понимает. Так она, как будто, девочка умненькая. Строга уж очень. "Я не знаю, кто вам панангин назначил. Здесь вы будете принимать то, что я вам назначила..." Симпатичная, очень симпатичная... Боже мой, боже мой... Мог ли я зимой подумать?

Наум Исаевич обещал заходить. Едва ли. Едва ли он будет заходить. Не то это место, куда возвращаются. Дома болеть - совсем другое дело. Пока лежишь дома, все кажется, что дурака валяешь. И вещи твои со всех сторон на тебя смотрят и удивляются: "Что за черт, уже час дня, а он все с кровати не встает!" Зато уж тут... В конце концов, если будет храпеть, можно попросить перевести в другую палату: сейчас здесь, кажется, более или менее свободно. Главное, чтобы был не тяжелым.

21. VII.

Сегодня мой сопалатник Иван Игнатьевич решил, наконец, все про меня выяснить.

- Так, - сказал он, - Семен Иннокентиевич, я что-то не совсем понял. Вот эта пожилая дама, которая к вам приходила позавчера, это...

- Это моя жена.

Он крякнул одобрительно, видимо, это подтвердило его догадку.

- Простите - нескромный вопрос: это она вас или вы ее?

- Кто кого оставил?

- Ну да.

- Вы знаете, я что-то теперь толком даже и не помню. Это давно было.

- Но все-таки она вас, значит, не забыла, приходит ведь? И апельсины какие принесла. Где это она интересно достала? Надо будет мне моей супруге тоже наказать.

- Иван Игнатьевич, берите ради бога, сделайте одолжение.

- Да нет, спасибо, я, по правде сказать, не такой уж любитель всего этого. Может быть, как-нибудь потом. Так я говорю, не забыла, значит?

- Сначала не забыла, потом забыла, теперь вот опять вспомнила.

- Она что ж, замуж вышла или так осталась? - поинтересовался Иван Игнатьевич.

- Замуж вышла. Только муж ее сейчас очень больной человек. Тяжелейший артрит.

"Да и ты на ладан дышишь, - додумал я за него, - не везет твоей жене с мужьями, хоть ты что".

Помолчали. Следующий его вопрос был мне столь очевиден, что я мог бы задать его и сам.

- Ну а вот эта молодая дама, которая приходила вчера, это...

- А это моя вторая жена.

Тут уж я решил не ждать наводящих вопросов: лежим мы вдвоем, делать нам нечего.

Днем раньше, днем позже все равно ему будет все про меня известно.

- С ней мы тоже разошлись. Она меня оставила. Это было недавно, так что это я хорошо помню.

Иван Игнатьевич начал уже переходить грань приличия.

- И когда ж это было?

- Когда мы разошлись?

- Ну да.

- В конце июня.

- А сюда вы попали в начале июля?

- Да. Сюда я попал второго июля.

Замолчали. Ход его мыслей был мне так понятен, как будто эти мысли складывались не в его, а в моей голове. Да и мысли-то были такие несложные. Если бы я ему еще сказал, что инфаркт случился у меня через три дня после того, как она переехала к Кириллу. Но ему и без того все было ясно, как, впрочем, и всем. Всем было все в этой истории так ясно, что я даже и сам начинал иногда сомневаться: может, правда, так оно и есть.

Про Галю уж что и говорить: она так упивается своей виной, так казнит себя, что на нее прямо смотреть жалко. И все-таки, если бы она узнала, что инфаркт у меня совсем не потому, что она меня бросила, а оттого, что какому-то там сосудику в сердце срок вышел и он сжался и перестал кровь пропускать, то, наверное, была бы разочарована.

Любопытство Ивана Игнатьевича было, видимо, удовлетворено, глубже его эта проблема не интересовала, он высказал еще что-то насчет разницы возрастов и приготовился рассказывать мне свою жизнь. Но здесь пришел врач с вечерним обходом, и беседа наша была прервана.

24. VII.

Вчера Галя принесла зеркало побольше, как я и просил. Так что сегодня брился значительно более осмысленно, чем до сих пор. Имел одновременный и полный обзор всех своих владений. Разглядывал свою физиономию внимательно и с пристрастием. Увы, увы - ничего поучительного я в этом зрелище не почерпнул. Как это ни печально, как это ни прискорбно - ничего.

Волос на голове совсем уж никаких не осталось. Один бордюрик, да и тот какой-то жиденький, седенький. Глаза выпученные, взгляд мутный. Во взоре ни огня, ни задумчивости... прямо хоть плач; ни бровей, ни ресниц... То есть имеется, конечно, что-то.

Но разве это то, что нужно? Штучки какие-то белые повыскакивали. Наверное, от неправильного обмена. Надо будет сказать, чтобы витаминов принесли. Толку от них, конечно, никакого нет, но все-таки будет считаться, что лечусь. А главное - морщины. Откуда их столько? Одна здоровая от угла носа к углу рта, прямо, как девятый вал, за ней еще целый батальон выстроился. Похож я, пожалуй, на Стравинского в старости. Или на Пикассо, тоже в старости. А, может быть, ни на того, ни на другого.

Надо будет это зеркало отдать обратно. Никакой радости от него нет. В то маленькое, когда смотришься, видишь кусок носа или угол рта, а все остальное уже дорисовываешь воображением. И это, скажу я вам, в тысячу раз приятнее, чем так называемая реальность, чтоб ей пусто было! Стравинский, Пикассо... Ах, судьба, судьба, почему ты так неравномерно распределяешь дары свои? Почему им было дано прожить так ярко, а мне

так бесцветно... "Семен Иннокентьевич Ширу", - и зал замирает. Так вот нет - все только наклоняешься к окошечку: "Девушка, запишите меня, пожалуйста, к терапевту. Ширу С. И." - "Простите, как?" - "Ширу. Шура, Иван, Роман, Ульяна". - "Ширу?" - "Правильно". И никто не замирает. Ни зал, ни ползала, ни четверть зала, ни одна... Что-то мне надо было не забыть сказать? Чтобы Ольга позвонила в местком и напомнила про путевку и еще что-то... А да ну их всех к черту! На тот свет я попаду и без путевки. Что-то надо было еще напомнить?.. Ах, да. Пусть Галя принесет Библию. Как это Апостол учил: "Не мечтайте о себе". Не мечтайте о себе, а я что?

25. VII.

Когда я о нем в первый раз услышал-то? Ага, это когда она ездила на конференцию в Минск. В каком же это году было? Виктор Николаевич купил новую "Волгу" в 69-ом, значит... Стоп, стоп, стоп... а да неважно. "Ба! Какой у тебя чемодан тяжелющий. А кто же тебе его там-то до поезда тащил?" - "Там мне Кирилл помог. Ну что у нас дома нового?.." Конечно, я этого Кирилла на вокзале не заметил, там такая толкучка была, да я и внимания тогда на это имя не обратил. Это уже потом началось... Как это она мне сказала: "Ты меня сам заставил с ним встречаться тайно". Вот как это у них называется. Я ее заставил! Ничего себе. Я, по-моему, только ее попросил, чтобы она про Кирилла мне говорила не через каждые три слова, а хотя бы через десять. Я ее заставил!

Как сейчас помню, как он у нас первый раз появился. "А чем вы занимаетесь-то, Кирилл, я что-то забыл?" - "Чем я занимаюсь? Да я все глубже и глубже проникаю в тайны деятельности мозга. Я - нейрофизиолог, работаю в институте физиологии. Такая у нас, знаете ли, официальная формула - все глубже и глубже в тайны деятельности мозга. Хотя зачем нужно в эти тайны проникать - убей меня бог, не знаю..."

Так они изволили отозваться о своей профессии. Кокетка! Но хорош. Я как посмотрел на него, так сразу и понял, что мне крышка: такой благородный, интеллигентный, волосы густые, темные и смотрит очень выразительно... И какая-то несообразность между тем - как смотрит и - как говорит. Во взгляде - меланхолия, печаль, а разговор нервный, немного вычурный, так что создается впечатление, что он старается себя встряхнуть, вывести из этой своей задумчивости.

Впрочем, при тех обстоятельствах, при которых я его знал, особенно при первой встрече, все это естественно. Ведь у них тогда уже что-то было. А может быть, тогда еще и не было. Это в каком было месяце? Виктор Николаевич попал в аварию...

Ах, Виктор Николаевич, Виктор Николаевич... Сейчас опять холодную манную кашу принесут. Придется есть, хотя вот уже чего не хочется, того не хочется. Есть просто так - *pour passer le temps* (чтобы провести время). Как это, у Арагона, кажется, есть такое стихотворение. *Je chante pour passer le temps* (я пою, чтобы провести время), ну вот, а *Je mange pour passer le temps* (я ем, чтобы провести время), все только и делается *pour passer le temps*...

Ну, вот и поел. Теперь бы чем-нибудь перебить вкус этой преснятины. Если бы покурить! Как просил, ведь, как просил. "Ты что с ума сошел! Мы же тебе не враги..." Чтoб они сдохли! Лучше уж враги, от которых хоть какое-то развлечение, чем друзья, которые только тоску нагоняют. Прости, господи, меня грешного, что бы я тут без них делал. Но если бы закурить!

"Иван Игнатьевич, сколько сейчас времени, а то мои что-то показывают невесть что... Неужто еще только шесть? Нет, нет, спасибо ничего не надо... может быть, кто-нибудь и придет... Сегодня что - среда? Вы пойдете телевизор смотреть? Попросите тогда, пожалуйста, у сестры... кто, кстати, сегодня дежурит... тетя Маша... Попросите, чтобы она горчичник принесла... да что-то немножко побаливает... может быть, и погода... это не обязательно сейчас..."

26. VII.

Наверное, в развитии их романа был какой-то период, когда они решили установить высокие и прекрасные отношения... Они будут друзьями. Он будет бывать у нас дома...

Чего только не снится влюбленным. Им показалось, что такое возможно!

Это не было ходом в игре. Убежден, что между ними тогда еще ничего серьезного не было. Они еще только заглянули в бездну... первый поцелуй, наскоро, наверное, где-нибудь в подъезде. Ба! Да почему "где-нибудь" - в нашем подъезде, где же еще! В нашем же подъезде, небось, и целовались. Ах, сукины дети! Можно сказать, под самым у меня носом. Особой опасности я собой, конечно, никогда не представлял, но все-таки, надо же знать и приличие. А потом, наверное, провели бессонную ночь и решили больше не встречаться. А потом провели еще одну бессонную ночь и решили установить высокие и прекрасные отношения.

И вот квартира моя превратилась в сцену. И начал на ней разыгрываться этот спектакль.

- Вы случайно не знаете, что нынче дают "у Ширу"?

- Ну как же, как же "Menage en trois" (Любовь втроем) - старая как мир пьеса Кирилла Лапицкого, с ним же в главной роли.

- Ах, вот оно что. А сам Ширу-то какую там роль играет?

- Да незавидную, знаете ли, незавидную. Впрочем, он, кажется, доволен.

А ведь я и в самом деле был доволен. Они меня тоже втянули в эту игру. И это была честная игра - я в этом не сомневаюсь. Никакое это не было "menage en trois". Они играли честно. Только пока они играли, этот вот, который с рогами и копытами, потирал за кулисами руки (или не руки, а что у него там?), потому что он видел, как зреет плод, и предвкушал, как в один прекрасный день...

Тогда-то она и начала приносить мне его художественные произведения. "Как, он еще и рассказы пишет?" (Я, кажется, сказал: "Он еще у тебя и рассказы пишет!" - и подумал, что что-то слишком быстро я сдаю свои позиции). "Король и город" - притча, "В троллейбусном кольце" - рассказ, "В сумерках" - рассказ. Еще что-то. Пожалуй, наберется на целый сборник.

Конечно, сыро это все. Недоделано, недоработано. Но способности у него есть, бесспорно, есть. И способности есть, и мысли...

Прервался для измерения температуры: 36,8. И способности есть, и мысли. А в моем лице нашлись и почитатели. Смешно сказать, а я и вправду увлекся его произведениями. И меня он втянул в этот сумеречный мир, в эту жизнь - не жизнь. Хотя, казалось бы, что мне-то уж вся эта метафизика совсем ни с какого бока. Так нет вот, и меня забрало.

"Торжество абсурда", - про что это он сказал? Ах да - это, когда их посылали на овощную базу перебирать морковь.

"Вы знаете, меня не покидало какое-то метафизическое ощущение нереальности происходящего. Около конвейера, где хороший хозяин поставил бы двух баб, нас стояло восемь человек, восемь мужчин, из которых четыре - доктора наук. Мы сортировали морковь. А те самые две бабы, которые должны были бы стоять на нашем месте, прогуливались рядом и на нас покрикивали; от них зависело: отпустят нас на час раньше или нет. Это была какая-то фантазмагория. Торжество абсурда. Здесь нужен был Кафка, Питер Брейгель. Это была их стихия!"

- Вы, - говорю, - Кирилл, все это так остро чувствуете, что могли бы описать не хуже Кафки.

- Ну что вы, - говорит, - что вы. Где уж мне до него!

И вдруг улыбнулся, мило так, совсем как девочка. В нем вообще есть что-то девичье.

Наверное, потому-то он и нравится женщинам. Как я успел заметить: женщины любят, чтобы в мужчине было немного женского начала. Он мог бы иметь большой успех.

Только ведь он боится женщин, как, впрочем, боится всякой реальной жизни. "Вы знаете, ведь я во всем этом как-то неумел", - признался он мне.

"Неумел, неумел", однако, у нас в подъезде... сумел же... Какое-то там объявление висит уже полгода. "Куплю детскую коляску..." И торжества абсурда не испугался.

- Ты что не раздеваешься? - говорю. - Случилось что-нибудь?

- Да, случилось. Я люблю Кирилла, - и в слезы.

- Так, что нынче дают "у Ширу"?

- Ах, жутко скучная, жутко скучная мелодрама. Я ушел после второго акта. Не знаю даже, чем там все кончилось.

28. VII.

Думал сегодня об этой его притче "Король и город". Да, это верно, это верно. Человеку всегда чего-то не хватает.

Чего-то самого главного: какой-то завершенности. И в молодости, и в зрелости, и в старости. Бывает, что все есть: и работа, и любовь, и, кажется, нужно лишь руку протянуть, чтобы достичь то, чему нет имени, но в чем одном только и заключен истинный смысл всего, ради чего живешь. Но именно это-то и невозможно. И мы всегда только на пути. В одном переходе или в нескольких, но всегда только на пути. А то, к чему стремимся, в чем должны раскрыться, так, чтобы ничего от нас уже не осталось, во что должны войти как в свой родной дом - это всего лишь мираж...

Интересно, когда этот король ложится в кровать с моей женой, достигает ли он города, в котором родился? Едва ли. Может быть, на самом-то деле я значительно ближе к этому городу. Вот эта комната с голыми стенами, эта чужая кровать - вот он, край леса. Отсюда, может быть, даже меньше, чем один переход... Только существует ли этот город...

Кирилл все время кокетничает со смертью, а ей-то, по-моему, больше нравлюсь я.

Наконец-то найдется женщина, которая предпочтет меня другому мужчине.

2. VIII.

Сегодня мне в голову пришла прекрасная мысль. Или, вернее, не "пришла", а прямо вбежала. Дверь нараспашку...

"Ха-ха-ха. Слушай, что я придумала. Кирилл и ты - это одно лицо". - "Как так?" - "Да вот так". - "Объясни толком". - "Ну, ты же сам говорил, что в вас много общего". - "Ну". - "Так вот не "много общего", а просто вы - один человек. Только он это ты - проявленный.

Понимаешь, ты всегда был чем-то занят, чем-то конкретным, ты сам всегда говорил: время, мол, обстоятельства, трудности, то, другое... война... У тебя не было случая толком подумать о разных вещах, заняться чем-нибудь не для дела, не для работы, а так - ни для чего, для себя. А у него все есть это. Поэтому он - это, как бы тебе сказать, это...

спиритуализация тебя". В устах хорошенькой женщины это прозвучало довольно забавно. Но она именно так и сказала: "...Это спиритуализация тебя"... "Ну, понял, понял? Так что, в сущности говоря, можешь считать, что я от тебя и не уходила, просто перешла с одного этажа на другой, от тебя - низшего к тебе - высшему". Вскочила, опять: "Ха-ха-ха". В щеку меня чмокнула: "Ля-ля", - и нет ее...

А я лежу и размышляю. Что же, может быть, это и не так глупо. Действительно, в нем осуществилось многое такое, что во мне только намечалось. Потому-то я и понимаю его так хорошо, потому-то и ее ревную так мало, что вижу в нем себя.

Только себя более талантливого, более раскованного, рискнувшего тем, чем сам бы я никогда не рискнул: этой сублимацией, этой нереальностью. Писать рассказы, описывать свои состояния... ну это еще куда ни шло... но давать эти рассказы читать другим, обсуждать себя как постороннего, играть в себя - нет, это уж увольте.

Я принадлежу к поколению, у которого было слишком много реальных проблем: сначала надо было, чтобы тебя не посадили, потом чтобы не убили на войне, потом - как-то устроиться после войны... Сейчас совсем другое дело, сейчас ничего не происходит. Удав заглотив достаточно событий, чтобы их переваривать. Дожлое время. Глава государства

развлекается тем, что вешает себе на грудь новые ордена, население спивается от скуки и безделья, а кучка интеллигенции либо борется с теньми прошлых кошмаров, либо занимается сублимацией. Как это он однажды сказал: "Вне религии нет искусства". Да с такой категоричностью, как будто это уже вполне установленная вещь. Что он, действительно так считает? Я потом полночи думал: есть ли искусство вне религии или нет... Все это было у нас популярно в начале века: богоискательство, психоанализ... а потом была дыра. В ней-то я и просидел. Для нас это все - крайне реакционные взгляды. Посмотришь в философский словарь, что такое экзистенциализм - реакционное буржуазное учение, а что такое фрейдизм - крайне реакционное течение правых кругов... Вот я и занялся строительством. Проектировал дома, детские сады. Строительство - это всегда хлеб. Строил и в Москве, и на периферии. И под конец ведь неплохо стало получаться, научился ведь чему-то. Вот Виктор Николаевич приехал из Финляндии, говорит, я у них там в такой чести, прямо - классик... вот так... а он что, что он умеет... Почему же он - высший, а я - низший.

И все-таки - это так. И если нужны доказательства, то идти за ними далеко не придется. Вот он - "я - низший", валяюсь здесь и, того гляди, околею, а он... то есть "я - высший" спит с моей женой, пишет рассказы, проникает в тайны мозга и... испытывает глубокую неудовлетворенность, потому что не может достичь города, в котором родился. Эх, Кирилл Константинович, мне бы да ваши заботы!

Будь оно проклято, вроде опять живот схватило. Во всем этом инфаркте - это самое поганое, беспомощность. Опять придется людей беспокоить. Может, обойдется как-нибудь. Кто у нас дежурит-то сегодня?

5. VIII.

Я ей тогда сказал: "Кирилл твой не живет. Он все только решает проблему жизни..." Да ведь на самом-то деле жить по-настоящему начинаешь только в старости, когда отдельные впечатления перестают тебя слишком волновать, перестают застывать всю картину в целом. И вот она предстает перед тобой - жизнь. Не твоя жизнь, не жизнь, отягощенная тобой, твоим отношением к ней, а вообще жизнь, жизнь без тебя. Вот она раздувает утро, вот она подает надежду, вот она дарит радость, вот она опускает вечер, вот она опускает последний вечер...

Перед смертью, говорят, бывает какой-то короткий промежуток, когда наступает этот экстаз жизни: несколько дней, может быть, несколько секунд...

Куда ж это я очки засунул? Только что ведь тут были. А, черт! За кровать, что ль, завалились...

О чем это я думал? Ах да - жизнь в последние минуты.

Верно, верно. Жизнь, как женщина, ценить ее начинаешь, когда она уходит. Фу, какая пошлость. Ай, ай, ай. Ах, вот они! Слава Богу. По радио-то есть сегодня что-нибудь послушать?

18.30. 18.30. Ага, вот, 18.30 - концерт по заявкам. Ну, куда ни шло. Знатная доярка хочет послушать меланхолическую серенаду... Каким убожеством приходится ограничиваться! И это тогда, когда вся московская интеллигенция подсаживается к своим спидолам, предвкушая услышать, что новенького выкинул академик Сахаров... Меланхолическая серенада... Вот тебе и меланхолическая серенада.

6. VIII.

Мир без меня. Чем старше становлюсь, тем все более реально себе это представляю. Раньше, в молодости, мысль о том, что я уйду, а он останется, настолько оскорбляла мое самолюбие, что я не мог допустить ее всерьез. Кажется, я мог бы примириться с обратным: он уйдет, а я останусь. Теперь что-то изменилось во мне. Может быть, я сам стал меньше для себя значить, может быть, просто устал, но только мысль эта совсем

перестала меня травмировать; пожалуй, она даже превратилась в источник успокоения, чтобы не сказать - радости.

Странное что-то происходит, когда пытаешься представить жизнь без тебя: пропадают желания, пропадает страх, как будто перестаешь быть собой и оживаешь в вещах, которые тебя окружают.

Помню, как прошлой зимой, ужасно усталый, после работы, шел за рукописью к машинистке. Ее парадное в углу двора. А двор большой, как площадь, - пересечь его целое путешествие.

А у меня уже ноги не идут, прямо хоть плачь. Прошел я под арку, дошел до ближайшего дерева и прислонился к нему, чтобы немного передохнуть. Стою и смотрю на двор, на окна, на детскую спортивную площадку, на автомобили, засыпанные снегом... И вдруг случилось что-то со мной. Заснул я, что ль, на секунду или что-то другое произошло, только увидел я вдруг все это совсем иначе, совсем не так, как видел несколько мгновений назад. Грузовик во двор въезжает, снег падает на деревья, собака бежит за палкой... а меня нет, а если и есть, то не сейчас, не знаю, не в этом дворе, и сам этот двор - не часть моего пути, моей усталости, а самостоятельный мир, живущий своей жизнью, смотрящий на меня с картины, как смотрят сотни дворов и парков, и каналов, которые тоже когда-то на миг становились частью чьей-то жизни, а потом выскальзывали из нее, потому что никогда ей и не принадлежали, и сливались друг с другом в вечном круговращении, в таинстве, в действе, именуемом жизнью.

И вздохнув, я побрел дальше. Все тот же, и все-таки чем-то не совсем тот же.

Да, да, в этом есть что-то успокаивающее. Автомобили, которые шумят за окном, люди, которые ходят по коридору, не знают, что сейчас я есть, не подозревают о моем существовании. Для всех них меня уже нет. Мой уход из жизни никак их не коснется, они его не заметят.

Если смотреть на себя с точки зрения жизни, то можно видеть, что в некотором отношении твой уход есть благо. Она перестанет метаться между ним и мной, у них пойдет нормальная жизнь. Ведь Кирилл по-настоящему хороший человек. В жизни не так-то часто встречаются стоящие люди.

Из моей жизни ведь она, в сущности, уже ушла. Как быстро, как легко. Я никогда не думал, что это будет так легко.

Нас связывают лишь какие-то поверхностные силы натяжения, лишь законы инерции. А внутри меня ее уже нет. И это тоже - благо. Все хорошо, все хорошо. Сегодня был удивительно приятный спокойный день. Хорошо бы, чтобы все дни были бы такие же, как этот... Сколько сейчас времени? Пора уже спать. *Vonne nuit.*

7. VIII.

Как описать утром то, что происходило с тобой ночью.

Эти мучения невыразимы. Тебя отзывают в сторону и показывают что-то ужасное. А потом ты возвращаешься назад, туда, где никто не знает о том, что тебе было показано, где жизнь течет так же, как она и текла раньше, где тебе приносят градусник, где лежит книжка, которую ты читал накануне, где пережитому тобой нет ни места, ни названия. И все же ты знаешь, что оно существует и может в любой момент возникнуть вновь.

Я сидел в кресле, а она присела на краешек дивана и рассказывала про то, как ей удалось без билета проскочить на итальянскую оперу. И она была такая веселая, такая оживленная, такая близкая. Я испытывал к ней столько нежности, что вся моя жизнь была в том, чтобы любить ее. И так было мне хорошо, так прекрасно. И все это было такое реальное, такое настоящее, так непохожее на сон. И вдруг я увидел Кирилла, он стоял с портфелем в руках и выражение лица у него было удивительно неприятное, удивительно мрачное. И в этот момент я испытал острую боль и страх, что сейчас ее у меня отнимут.

И тут же понял, что все кончено. Никогда больше мы не будем вместе. Вот он этот суррогат, который теперь и есть моя жизнь: голая стена, дверь, спинка кровати.

А она плачет и плачет, и внутри меня все сжимается.

Родная моя, мне ничего не нужно. Я - старый человек, и скоро умру. Успокойся, ради бога, успокойся.

8. VIII.

Господи, до чего же смешной человек этот Виктор Николаевич! Милый, но ужасно смешной. Росточка небольшого, крепыш такой, похож на бычка, которого чем-то обидели, хотя чем - непонятно. Со зрением, правда, видимо, неважно - очки толстенные, но в остальном... Сколько же он у меня вчера просидел. Чего только про себя не порассказал! Подумать, кажется, так все удачно у него складывается, такая жизнь благополучная, только позавидовать можно. Здоров, относительно молод (сколько ему? Лет сорок пять наверно), богат (по нашим масштабам), любим. Добился известного положения, занимает хорошее место и, как пишут в характеристиках, "пользуется заслуженным уважением коллектива". И притом приличный порядочный человек - никого не подсаживает, никому гадостей не делает, на компромиссы идет не больше, чем все остальные. Ну что еще нужно! И в то же время такой страдалец, прямо смотреть жалко: все страдает и страдает, страдает и страдает... Тьфу ты дьявол! Только хотел дать психологическую зарисовку, а тут паста в карандаше кончается. Пишешь для грядущих поколений, свидетельствуешь, можно сказать, почти с того света, а из-за такой ерунды приходится прерываться... Ну вот, слава Богу, оказывается, это штучка запасная есть... да, так вот я говорю: страдает и страдает. Страдает из-за какого-то постоянного ощущения несоответствия своей личности и своей жизни. На работе он считается одним из самых способных инженеров-проектировщиков, но сам он считает, что строительство - это не его призвание и страдает оттого, что занят не тем делом, для которого создан. А для чего создан, он толком не знает, но сильно подозревает, что для того, чтобы быть пианистом. Однако обстоятельства не сложились и пианистом он стать не смог. Так, кажется, играй для собственного удовольствия, упражняйся, совершенствуйся. И люди, которые слышали его игру, говорят, что играет очень прилично. Казалось бы - радуйся, так нет же - страдает. Страдает оттого, что время упущено, что он всего лишь жалкий дилетант, что до Рихтера ему как до звезды небесной и что вообще жизнь его не удалась и данные Богом дары растрочены впустую.

Или вот, взять хотя бы языки. Я французский, по-моему, всю жизнь долблю, но дальше *Je vous aime* (я вас люблю) не сильно продвинулся. И все-таки это *Je vous aime* пару раз сумел ввернуть очень даже вовремя, чем и горжусь... Кончилось, правда, все это не очень складно, но это уж не от незнания французского... А он английский чуть не за год так выучил, что специальную литературу совершенно свободно читает, но... "Сунулся тут было в Фолкнера и, прямо хоть плач, ничего не понимаю. И что самое ужасное - чувствую, что никогда ничего не буду понимать. Учил, учил и все зря. Для серьезных занятий ни времени нет, да и голова уже не та. Бросать надо все".

Сидел у меня вчера часов пять. Я под конец уж до того устал, что прямо мочи никакой нет. Все говорит и говорит, говорит и говорит. Потом вдруг сообразил, что я только что после инфаркта и стал так переживать, что меня утомил, так угрызаться, что я уж и не знал, как его успокоить. Ушел в таком глубоком, безнадежном унынии, что я уж просил Ольгу ему сегодня позвонить, выяснить - не сотворил ли он чего над собой. Такой милый, интеллигентный человек... Как время идет... Кажется, не так уж давно мы с ним познакомились, а ведь я по пальцам могу пересчитать людей, которых знаю так долго... Какое странное освещение. Может быть, дождь собирается. Что-то мне сегодня не по себе... Почему я вдруг про Виктора Николаевича вспомнил? Ах да, ведь он у меня вчера

был. Все не то, все не то. Если бы я умел молиться. Надо будет напомнить Гале, чтобы принесла Библию. У апостола Павла есть какие-то слова... не могу вспомнить.

10. VIII.

Иван Игнатьевич обещал, что скоро нам будут оказывать особое внимание. Сын заведующего нашим отделением, профессора Землянского, этой осенью поступает в экономический институт, где зять Ивана Игнатьевича, некто Михаил Сергеевич Тоцкий, зам. декана. Все по благу, все по благу. Ах, если бы дочка моего Инфаркта поступала бы в какой-нибудь строительный институт, я мог бы считать себя тогда поправившимся... Какое нам, впрочем, нужно "особое внимание". Не надо Бога гневить, уход здесь вполне приличный. Да и пигалица, которая ко мне лечащим врачом приставлена, по-моему, делает все, что от нее зависит. Я уже не говорю про сестер и нянечек. Не все, конечно, но некоторые - просто замечательные. Та же тетя Маша. Ведь не попадешь в больницу - не узнаешь, что такие люди на свете есть. Кормят, конечно, паршиво. Кто-то говорил: 70 копеек в день. Да еще ведь и украсть с этого что-то нужно.

11. VIII.

Плохо быть старым, больным и одиноким. Плохо, когда твоя жизнь не имеет никакой основы.

Основа жизни - это близкие люди. Все, что кажется существенным пока молод и здоров: книги, работа, приятели, интересные разговоры, все это - одна мишура. Душе нужен близкий друг. Когда его нет, то непонятно, зачем жить. Некому пожаловаться. Никто не согреет. Так холодно. Так пусто...

Боже мой, боже мой! Ведь я же никому не нужен... Будет, будет, хватит распускаться. Надо держать себя в руках. Сколько людей прошло через жизнь - и нет ни одного близкого человека. Если бы мама была жива.

12. VIII.

Виктор Николаевич решил исправить впечатление. Забежал ко мне сегодня таким бодрячком. Апельсины принес. (Господи, все тащат апельсины. Прямо хоть лавку открывай). Сидел не больше пяти минут. Пока Иван Игнатьевич куда-то выходил, анекдот рассказал отличный. Как это, как это? "Петька прибегает. Василий Иванович..." ...ха, ха, ха... В лучшие годы такой анекдот, пожалуй, лет на десять бы потянул. Остался, очевидно, очень собой доволен. И меня развлек.

13. VIII.

Ничего мне сегодня в голову не приходит. Не знаю даже, что и записать. Сначала было утро, разносили градусники...

Потом день кое-как протянулся. Теперь вот вечер. Скоро спать. Ну и что? Зачем это? Зачем приходил этот день? Мог бы, кажется, и не приходиться. Ко мне, во всяком случае, мог бы и не приходиться. Может быть, к кому-нибудь другому... К кому-нибудь, у кого больше сродства к жизни... Сродство к жизни - это что-то иррациональное. Пока человек жив, оно есть у него, а потом его уже нет, а он еще жив.

Вокруг тебя все вертится с видимостью какого-то смысла.

Пока ты здоров, никому до тебя нет дела, все только и направлено на то, чтобы тебя поскорее сломать, а когда ты, наконец, сломался, тебя тащат в больницу, и огромное число людей упивается тем, что возвращает тебя к жизни. Странная игра. Игра ни во что. Давид Юм сказал, что, умирая в 65 лет, человек не теряет ничего, кроме нескольких лет недомогания. Ну, мне 61 - не велика разница. Допустим, меня подлечат и я выпишусь отсюда, чтобы в скором времени снова сюда попасть. Да ведь я уже здесь. Нужна ли эта интерлюдия?

Наверное, он приходил к кому-нибудь другому, а я тут оказался случайно. Что ж так и запишем... в наших записках: этот день приходил не ко мне.

14. VIII.

Свершилось! Сегодня нас посетил сам профессор Землянский. Произошло это так. С утра, еще до обхода, забежала моя пигалица, очень взволнованная, внимательно на меня посмотрела и сказала, чтобы я готовился, так как профессор выразил желание меня посетить. Явление это здесь нечастое. Профессор, говорят, в клинике вообще бывает редко. У него много всяких других обязанностей - он член президиума Медицинской академии, председатель терапевтического общества, главный редактор какого-то журнала, еще кто-то. К тому же он представляет советскую медицину за рубежом, так что его визиты к отдельным больным - целое событие.

Думаю: значит, кто-то ему обо мне рассказал. Глупо, конечно, - какое это может иметь значение, а все-таки приятно.

Внимание такого человека что-то да стоит. Говорят, очень интеллигентен, чуть ни на пяти языках свободно изъясняется. В искусстве хорошо разбирается (в медицине, кажется, похуже)... не все на свете все-таки по благу делается, как это себе мой сосед представляет. Есть какие-то другие связи между культурными людьми. Как-никак, я тоже известный инженер-строитель, член Союза архитекторов...

Минут через десять, действительно, дверь открывается и входит профессор. Огромного роста мужчина, голова бритая, борода седая, импозантен до невозможности. За ним целая свита: ассистенты, ординаторы и пигалица моя среди них. Он на меня пальцем показывает и, обращаясь к ней говорит: "Этот?" - "Этот, Николай Иванович". - "Ну, смотри, - говорит, - он у тебя совсем свеженький". Подсаживается ко мне на кровать, по ноге меня похлопывает, голубчиком называет. Расспрашивает все подробно, только, как ни странно, почему-то все больше насчет желудка: сколько раз в день работает, как работает... Я ему даже хотел сказать, что у меня не запор, а инфаркт, но сдержался. Вообще очень мил: шутит, балагурит, какие-то истории из своей медицинской практики вспоминает; все предписания моей пигалицы одобрил, какие-то лекарства добавил, какие-то убавил, но, в общем, нашел, что лечат меня очень правильно.

Говорят, есть врачи, которым больных показывают, и врачи, которых больным показывают. Наш профессор, очевидно, принадлежит ко вторым. В его присутствии болезнь воспринимается как какое-то забавное недоразумение, исправить которое - плевое дело.

Ко мне он обращался на "Вы", что меня несколько удивило, потому что я слышал, что, как правило, он говорит больным "ты".

Про него рассказывают в больнице много всяких анекдотов. Вот один из них. Какая-то старушка лежала в его отделении то ли с инсультом, то ли с воспалением легких. Профессор очень внимательно ее осмотрел, дал указания, как лечить и удалился, вселив в пациентку надежду на скорое выздоровление. Во время следующего своего обхода он остановился у кровати больной и, удивленно подняв брови, спросил: "Как, ты еще жива?". Старушка относилась к своей болезни серьезно, и, не оценив остроумие эскулапа, разрыдалась.

В общем, не буду кривить душой, знакомство с профессором Землянским доставило мне удовольствие. Единственно, что мне было обидно, так это то, что на Ивана Игнатьевича он не обратил ни малейшего внимания. Я на него несколько раз украдкой взглянул: лежит мрачный, делает вид, что газету читает.

Уже совсем собравшись уходить, профессор, как бы невзначай, вдруг роняет: "Так я что-то не понял, Михаил Сергеевич Тоцкий кем же вам приходится - затем или кумом?"

"Зятем, затем - говорю. - Только он не мне затем приходится. Он, вот моего соседа, Ивана Игнатьевича, зять".

Чувствую, в свите какое-то движение, переглядываются, перешептываются, кто-то даже смешок подавить не сумел. Профессор и бровью не повел. Вот что значит - интеллигентный человек. Ничем не дал понять, как ему обидно, что на меня впустую полчаса угробил.

"Ах, вот оно что, - говорит, - ну сейчас мы и им займемся". На пигалицу строго посмотрел.

"Так, резерпин ни в коем случае не отменять. Поняла?" - и переехал на соседнюю кровать.

"Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными".

К римлянам послание святого апостола Павла. Глава 8. Стих 26.

17. VIII.

Когда я помру, приятели будут вспоминать меня, и мои замечания будут казаться им значительными. Они будут усматривать в них мудрость, которую в свое время не оценили. Так всегда бывает с высказываниями человека, которого уже нет.

На все его слова и поступки смерть ставит печать законченности. И уже одно это делает их значительными в жизни, где все так двусмысленно и неопределенно.

- А помните, как Семен однажды сказал...

И они будут качать головами и замолкать. И у них на лицах будет появляться то благочестивое выражение, которое всегда появляется у живых при упоминании о покойнике.

Вижу эту сцену как наяву. Вот Андрюша, вот Моисеич - потупил задумчиво очи, а сам, небось, думает о чем-то совсем другом, вот Виктор Николаевич.

Боже мой! Боже мой. Мы живем в мире отработанных схем, многократно проигранных ситуаций. Кириллу этот образ бы понравился. Если бы он пришел меня проведать, я бы его позабавил.

"Может быть, у меня со временем хватит духа его навестить". Глупый мальчик. "Со временем", - это будет на Ваганьковском кладбище. Туда-то он, конечно, придет. Я даже очень ясно представляю, как это будет. Осенний день... А, да к черту все это. Что сегодня по радио-то интересного?

28. VIII.

Давно уже не делал записей. Нет никакой охоты. Все хуже и хуже. Воздуха не хватает; дышать нечем. Ужасная вялость, все больше сплю...

31. VIII.

Плохо, совсем мне плохо. Je meurs, je meurs; tout me l'annonce ("Я умираю, я умираю. Все мне говорит об этом", - первая строчка стихотворения Беранже "Последняя песня").

Ночью около меня теперь дежурит сестра; следит, чтобы я во сне не повернулся на бок.

Бедная девочка не спит из-за этого всю ночь.

Устал, не хочу больше.

Вчера вечером сердце совсем остановилось. Думал, умираю. Не чувствовал ни огорчения, ни страха, скорее - облегчение. Потом слышу: "Принести вам умыться? Давайте я вам рот вытру". Открыл глаза - утро.

3. IX.

Синичка все время головой вертит: то одну, то другую белую щечку показывает. А воробьи сидят, нахохлившись - вниз смотрят. Иван Игнатьевич приделал к подоконнику кормушку и расстраивается, что сейчас не зима и его угощения не пользуются успехом.

Вчера на эту кормушку ворона плюхнулась. Вид у нее был совершенно ошалелый. Когда улетала, то все перевернула. Иван Игнатьевич был очень возмущен. Что-то я не пойму: помираю я, не помираю - как-то ни туда ни сюда.

14. IX.

Сегодня первый раз разрешили встать. Пришла Ольга, пришел Дима. Опираясь на них, я дошел до двери и обратно. Устал. Опьянел.

Чувство нереальности не покидает. Что же это, в самом деле? Я ведь уже уходил. Почти совсем ушел. Меня окликнули у двери. Я застрял, и вот теперь не знаю, где же я - тут ли, там ли. Сегодня, когда лежал один, вдруг ни с того ни с сего заплакал. Такого со мной уж много лет не случалось. Кружится все, ни на чем не могу остановиться: травую вдруг запахнет, маму вижу, чувствую себя таким немощным, таким беспомощным.

Когда подошел к двери, то стало страшно, что назад не дойду.

А они все мне улыбаются, меня поддерживают. Какие милые, какие прекрасные люди. Побывать бы с ними еще немножко. Дима - почему он вдруг ко мне приходит. Я так мало уделял ему внимания. Младший чертежник. Совсем недавно к нам поступил.

Оказался таким тонким, таким обаятельным человеком. Если бы я что-нибудь смог для них сделать. Доктор сказал, что дня через два можно будет выйти в коридор. Неужто я снова смогу идти по улице, сидеть на скамейке, будут желтые листья?

17. IX.

Сегодня ночью ездил на дачу. Дорогу туда не помню. Может быть, ее и не было. А пруд почти совсем не переменялся с тех послевоенных лет, когда я видел его в последний раз. Лесок за плотиной, пожалуй, стал повыше. Я не ходил туда, но видел все его тропинки и лужайки. В моем возрасте, чтобы преодолеть расстояния, не надо садиться в самолет: достаточно прикрыть глаза, чтобы видеть черепичные крыши Мейсона, и das Schlos вознесенный высоко над Эльбой, и дом Лукаса Кранаха в Веймаре, и маленькое кладбище на Joganestrassen, где похоронена жена Гете, а недалеко от нее лежит кто-то, кто был "Fidele a son Dieu, a son Devoir, a son amis" (Верен своему Богу, своему Долгу, своим друзьям). И снова видеть пруд, низкие берега которого поросли осокой, и переноситься через время, и снова быть брошенным мужем, которого друзья пригласили летом к себе на дачу, и снова пережить это таинство разрыва столь мучительное и столь прекрасное.

Я сидел на скамейке и смотрел на воду. Ко мне подошла молодая женщина и попросила разрешения сесть рядом. Она сказала, что мое лицо ей знакомо, но она никак не может вспомнить, где меня видела. Я ответил, что внешность моя столь заурядна, что она могла видеть меня где угодно. Она засмеялась и покачала головой. Потом она сказала, что живет сейчас на даче у своих друзей, и я не удивился, когда сообразил, что это та же самая дача, на которой когда-то жил и я. Мне было очень хорошо; я не помню, когда еще в жизни мне было так хорошо.

Как возвращался на станцию - не помню, а жаль, потому что я люблю этот участок дороги, когда дачи остаются позади и ты пересекаешь темное поле, медленно приближаясь к разноцветным огонькам семафоров и маленькой платформе с остроконечной крышей.

Я не прохожу в вагон, а стою в тамбуре перед открытой дверью; меня переполняет что-то новое, невозможное, потому что после всего, что было, невозможно ничего нового. Я стою перед открытой дверью, а мимо меня проплывают эти дачи, эти овраги, эти огоньки, эта жизнь...

20. IX.

Кажется, на "Суханово" надежд почти никаких нет, а в "Болшево" мне, по правде говоря, хочется ехать значительно меньше. Надо будет, чтобы Ольга еще раз позвонила в местком.

Не так-то часто я к ним за чем-нибудь обращался... Пожалуй, вот еще что: пусть Дима попросит Виктора Николаевича... или я его и сам могу попросить, если он ко мне завтра

зайдет. У него, кажется, есть какое-то знакомство в министерстве... наплевать, что это не санаторий... главное, чтобы была отдельная комната.

Почему же, интересно, ко мне вчера никто не зашел? Ведь я же просил, чтобы мне принесли сюда этот чертеж. Сейчас у меня как раз есть время его спокойно посмотреть. Такой, кажется, пустяк...

Вот что: пожалуй, нужно записать - что мне принести в первую очередь:

1. Пронестил (японский препарат). Если удастся достать.
2. Шариковый карандаш с запасной штучкой.
3. Одеколон.
4. Сахарного песка (немного). Апельсины не надо.
5. Чертеж (в первую очередь).
6. Книгу про Ван Гога.
7. Напомнить Ольге, чтобы она позвонила в местком.
8. Коробку конфет для пигалицы (небольшую).

Поскольку пигалица и сама не велика. Что же еще?

Выписка из протокола пато-анатомического вскрытия

Больной Ширу С. И., 61 год, скончавшийся 20. IX. 1978 г. страдал общим атеросклерозом, с преимущественным поражением коронарных сосудов сердца. Инфаркт миокарда задней стенки левого желудочка с вовлечением перегородки. Недостаточность кровообращения второй степени. Смерть последовала при явлениях возникновения повторного инфаркта миокарда.

Зав. пато-анатомическим отделением М. М. Козлов

II.

КОРОЛЬ И ГОРОД

(притча Кирилла Лапицкого)

Утро всколыхнуло город, и все горожане высыпали на площадь, потому что это был день, которого они с таким нетерпением ждали уже многие месяцы. Сегодня их молодой король, родившийся в этом городе и проведший здесь свое детство, а затем увезенный на чужбину, возвращался назад, в места, которыми испокон веков правили его предки. Жители города хотя и издалека, но постоянно следили за судьбой своего короля. Они знали, что он красив, отважен, благороден и мечтает о том дне, когда сможет вернуться в свой родной город. Они знали, что под его знамена со всех концов света уже собрались рыцари, такие же молодые и смелые, как и он сам, и что все это войско, совершив длинный поход, сейчас находится совсем недалеко от города и, подойдя к полудню к городским стенам, пройдет с триумфом через главные городские ворота и остановится на площади перед собором. И тогда они все увидят молодого короля, и он, поднявшись по крутым ступеням на балкон ратуши, будет приветствовать свой город и свой народ. Вот почему в этот день так много людей вышло из своих домов и, запрудив узкие улочки, выстроилось на главной, самой широкой в городе улице, ведущей от городских ворот к площади. Здесь были купцы и ремесленники, воины и монахи, чинные матроны и озорничавшие дети, молодые парни в обнимку со своими подружками и немощные старики, не решающиеся отойти далеко от своих домов, чтобы не быть смятыми шумной, веселой толпой, шатающейся по городским улицам.

А совсем недалеко от города, всего в одном переходе, на краю леса войско короля снималось со своего последнего бивуака и готовилось двинуться в путь. И сам молодой король, сгорая от нетерпения поскорее увидеть свой родной город, выехал в поле и там,

отделившись от свиты, соскочил с коня и подставил ветру лицо. Он был именно таким, каким представляли его себе горожане: стройный, юный, с открытым прекрасным лицом - еще ребенок, и в то же время, уже мужчина. Ему хотелось двигаться, ощущать свое сильное тело, и, казалось, не сдерживай его чувство королевского достоинства, он сейчас бросился бы бегом через поле, туда, где равнина постепенно переходила в холмистую местность, а холмы давали начало отрогам гор, с которых стекали бурные потоки, словно змеи, извивавшиеся между холмами, и постепенно, замедляя бег, сливавшиеся в одну широкую спокойную реку. И там, где эта река вытекала из холмов и где в нее вливался последний, как будто запаздывающий ручей, высились зубчатые стены его родного города.

Солнце поднялось над степью, разгоняя остатки облаков, и из памяти короля уже вовсе изгладился странный сон, который снился ему под утро... Быстрыми шагами поднимался он по крутому склону холма, на котором расположилась деревня. Ему было легко и весело преодолевать этот склон, не чувствуя ни усталости, ни усилий. Вот уже и первые деревенские домики пошли, вот уже и деревенская улица... Но почему она так пуста? Где же люди? Ах, вот они.

В конце улицы возвышалась остроконечная колокольня деревенской церкви, около которой собралось много народа. Король направился туда, и по мере приближения, радостное чувство, которое только что владело им, начало тускнеть и уступать место мучительному ощущению надвигающейся беды. Ни слова не говоря, люди расступались, пропуская его к тому месту, где на возвышении находился предмет, вокруг которого они столпились.

Это был открытый гроб, в котором лежал человек. Король не мог разглядеть его и чувствовал, что ему нельзя это делать. Он почти наверняка знал, чье лицо он увидит, если заглянет в гроб. Но устремленные на него взгляды заставляли его подойти вплотную. Он сделал над собой последнее усилие и... проснулся.

Сияло утро. "Что за вздор", - подумал король и, вскочив со своего ложа, вышел из палатки. Чтобы окончательно проснуться, он сделал несколько прыжков. Сон исчез, и королю показалось, что его ноги уже чувствуют крутые ступени ратуши, по которым он бегом поднимется на балкон и сразу, одним взором, охватит весь раскинувшийся под ним город и народ, собравшийся, чтобы приветствовать его. И сердце короля переполнилось радостью, потому что он знал, что именно таким будет миг свершения его мечты и что ничто в мире не сможет помешать ему. Ничто в мире!

Спокойное ясное утро занялось над городом. Хотя солнце еще не встало, но кругом было уже совсем светло, и только тающий на глазах лик луны напоминал о минувшей ночи, которая словно провела сочную черту между двумя полосами света, тянувшимися друг к другу с запада и с востока. Стояло лето, и все же в очертании далей, которые день ото дня проступали все более отчетливо, в свежести, которая утром задерживалась дольше, а вечером начиналась с каждым днем все раньше, уже замечались первые приметы осени. И все же лето было еще в зените, и рождающийся день обещал быть прекрасным. И это было знаменательно, потому что для горожан, выходявших на улицу из своих домов, этот день был особенно значителен: их король, родившийся в этом городе и проведенный в нем свое детство, а зетем увезенный в чужие края, где пробыл многие годы, теперь - на вершине могущества - решил вернуться в свой родной город и сделать его столицей всего королевства. Это известие было привезено курьером несколько дней назад и торжественно оглашено на главной площади.

С этого дня никто ни о чем другом не говорил, как только о предстоящем приезде короля. Жизнь города в последние годы была беспокойна: знатные горожане часто ссорились друг с другом в стремлении к власти и престижу, народ волновался...

Но все ссоры мгновенно прекратились, когда глашатай провозгласил на площади весть о скором приезде короля. Все успокоилось, и все чувства обратились в одно - ожидание. И этот день настал. И, хотя раньше, чем к полудню, короля и его войско нельзя было ожидать, но все растущее нетерпение не дало никому из горожан в это раннее утро остаться в своих домах: все они вышли на улицу, по которой король должен был проехать от ворот города к дворцу, по давно сложившейся традиции, остановиться у городской ратуши и, поднявшись на балкон, дать возможность всем горожанам увидеть себя и сам приветствовать их. Таков должен был быть этот великий момент, который теперь приближался с каждой минутой.

А совсем недалеко от города, всего в одном переходе, на краю леса стоял король. Это был муж, весь облик которого говорил о сознании своей силы. Молодость с ее капризами и страстями осталась позади, душа его перебродила и, потеряв охоту гоняться за мимолетными удовольствиями, научилась ценить простые и крепкие радости жизни. Прошедшей ночью он хорошо отдохнул и теперь не спешил. Ночью, когда он уснул на своей походной кровати, ему приснился город, в котором он родился. С поразительной ясностью ему приснились подробности, которые он не думал, что помнит. Ему - могучему королю, перед которым дрожали враги - приснилось, будто он маленький мальчик и будто он болен и лежит в кроватке, а его мать сидит у него в ногах и то и дело наклоняется и прикладывает руку к его лбу. А потом он почувствовал жажду, и старая служанка принесла какой-то напиток, и он пил и чувствовал, как влага проникает в самое его нутро, и как он весь как будто сжимается в ощущении того, что вот-вот растворится весь без остатка в этой влаге.

Потом многие годы это ощущение - весь как будто горишь, а мать склоняется, гладит тебя и подносит к губам прохладную влагу, и ты - на краю жизни и сейчас весь уйдешь, растворившись в этой влаге - это ощущение жило в нем, но он никогда не вспоминал его. Или, может быть, иногда, очень редко, оно приходило к нему в полусне, и все в нем начинало томительно сжиматься. Но воспоминание это никогда не становилось ясным, он вздрагивал, и оно исчезало. Прошедшей же ночью оно жило в нем долго и не спешило уйти, обратив его - взрослого мужчину - в дрожащий комочек жизни и сделав счастливым тем безмерным счастьем, которое мы познаем в раннем детстве, и смутным воспоминанием о которым живем весь остаток жизни.

Пробудившись, король улыбнулся, потому что долго хитрил, не признаваясь себе, почему вдруг в расцвете могущества он решил сделать столицей город, лежавший в стороне от больших торговых дорог, почему овладело им нетерпение, заставившее почти без отдыха гнать все огромное войско под стены этого города.

Он знал цену чувствам и не хотел расточаться в мечтаниях и предвкушениях. И все же, когда вчера в полудреме слабость овладела им, он со сладострастием отдался образам и ощущениям, так долго сдерживаемым в своей душе.

И сейчас, ранним утром, освеженный и спокойный в сознании близости свершения, он радовался тому, что позволил этой живительной слабости овладеть собой, дав возможность прикоснуться к истокам его жизни.

Первые лучи солнца засияли над степью, словно давая сигнал к выступлению, и король, выждав еще несколько мгновений, повернулся, чтобы взглянуть, все ли готово к выходу.

Еще с вечера метель начала мести у городских стен и почти без перерыва мела всю ночь, и ветер выл в соснах, растущих на холмах вокруг города, не давая горожанам уснуть и вселяя в их души тоскливую и безотчетную тревогу. Но когда наступило утро, то ветер стих, помягчало, и стало ясно, что к полудню выпавший за ночь снег почти весь растает. Люди стали понемногу выходить из своих домов и, переговариваясь, направляться к площади, на которой высились два самые большие здания в городе - собор и ратуша.

Население города состояло из стариков, потому что молодежь покинула этот город, давно утративший свое былое значение, пришедший в упадок и сам походивший на дряхлого старца, коротавшего свои последние дни. Мало кто помнил этот город, мало кто заезжал в него. И потому, когда накануне, уже под вечер, в город прискакал гонец, это вызвало целый переполох, тем более что весть, которую он привез, была совсем необычного свойства: старый король, когда-то родившийся здесь, а затем увезенный на чужбину и там, в странствиях и войнах, проведший долгую жизнь, возвращался в свой давно заброшенный замок на краю города. Многие старики помнили короля еще маленьким мальчиком, они долгие годы следили за его бурной судьбой, лелея в душе надежду, что когда-нибудь он вернется в места, где родился и, сделав город своей столицей, возвратит ему былую славу. И, действительно, до них доходили слухи о том, что король с огромным войском находится недалеко от города и намеревается посетить его. Сколько раз за все эти долгие годы они с нетерпением ждали его и готовились к встрече. Сколько раз они толпами выходили на площадь и, запруживая улицы, выстраивались вдоль "королевского пути", идущего от главных городских ворот. Все напрасно. Он не приехал ни разу, ни разу не нашел даже часа, чтобы взглянуть на места, в которых родился, и на людей, которые, даже не видя его, были ему преданы.

Но с тех пор прошло уже много времени. Его давно уже перестали ждать. О нем даже забыли. И потому весть, привезенная гонцом, вызвала скорее удивление, чем радость. Сначала все забеспокоились, ожидая каких-нибудь хлопот и перемен, но беспокойство это скоро улеглось, уступив место любопытству: "Наконец-то он вспомнил про нас", - говорили горожане, и в словах звучал упрек и отзвуки былой обиды. Но на самом деле, обиды не было. Все это была слишком старая история, которая никого уже не трогала за живое. Они не сердились на него. Он был такой же старик, как и они сами. И как бы по-разному ни сложилась их судьба, все было уже в прошлом. Они были даже рады, что последние часы он все же решил коротать вместе с ними, в городе, который когда-то всем им дал жизнь.

Дни становились все короче, светало поздно, и хотя горожане не рассчитывали, что король со своей свитой может приехать в город раньше, чем к середине дня, все же им не сиделось дома. Как только совсем рассвело, улицы понемногу стали заполняться, и наблюдатель, если бы таковой был и мог бы смотреть на все это откуда-нибудь сверху и со стороны, стал бы свидетелем оживления, не виданного уже многие годы в этом опустевшем и наполовину покинутом жизнью городе. Как будто последний луч навсегда заходящего солнца упал на черепичные крыши домов, и последний раз затеплилась и затрепетала жизнь в холодеющем и уже скованном смертью теле.

А совсем недалеко от города, всего в одном переходе, на краю леса, подобно мысу, вдававшемуся в тянущееся до горизонта поле, стоял король. Это был маленький сухой старичок с морщинистым лицом и слезящимися беспокойными глазами, выдававшими тревогу, которая мучила его последнее время. Эта тревога вошла в него неожиданно в то время, когда он вместе со своей старой свитой вяло и однообразно жил при дворе короля, доводившегося ему дальним родственником. Игра его была сыграна, и жить ему оставалось совсем недолго. Жалеть ему было не о чем: он прожил яркую жизнь, одержал много блестящих побед, вкусил в полной мере упоение властью, любил многих женщин и был любим ими. Судьба, казалось, всегда была благосклонна к нему. Но, увы - никакие воспоминания о яркой поре расцвета не могли скрасить тусклых дней его увядания. Все было в прошлом. Будущее не сулило ему никаких радостей.

Воспоминания прошлого не согревали его, он не узнавал в них себя. Его старому, больному телу ничего не говорили ни рыцарские турниры, ни объятия женщин. Он стал угрюм и необщителен, все, с чем он соприкасался, вызывало у него лишь раздражение. Окружающие, заметив это, перестали обращать на него внимание, и старый король,

замкнувшись в своем одиночестве, угасал, не обретя того примирения с жизнью, которое могло бы дать ему покой и просветление.

Как вдруг безумная мысль разбудила его. Им овладело непреодолимое желание перед смертью увидеть город, в котором он родился. И сразу же, как только желание это вошло в него, оно захватило его целиком, превратившись в веретено, в котором, словно наверстывая упущенное время, стали вращаться все его силы и помыслы. Это была последняя предсмертная вспышка, в которой уже агонизирующая жизнь пыталась связать концы размотавшегося клубка.

Ни с кем не советуясь, король быстро начал собираться в дорогу. Старые рыцари, из которых состояла его свита, не могли бросить своего хозяина и тоже начали готовиться в путь, хотя мало кто из них надеялся живым добраться до города, про который даже никто толком не знал, существует ли он еще на земле.

И вот замок, в котором они провели последние годы, остался позади, перед ними лежала бесконечная дорога, терявшаяся в лесах, горах и пустынях. Король не желал терять ни секунды, вся энергия и одержимость его молодости вернулись к нему. От первого до последнего луча солнца он скакал, не разбирая дороги, и за ним, не отставая, неслась его свита.

Что гнало их вперед? Какую цель хотели они достигнуть?

В течение дня король не давал себе ни минуты отдыха, но когда ночью он ложился на свою походную кровать, чтобы немного передохнуть, сон не шел к нему. Как только дремота подступала, его охватывал страх, что, заснув, он забудет, куда и зачем едет, и, проснувшись, не сможет этого вспомнить. И этот постыдный страх не давал ему уснуть. А как только начинало светать, он снова садился на коня, и скачка продолжалась.

Наконец, уже поздним вечером, на исходе второй недели пути, лес, по которому они ехали уже третьи сутки, кончился, и перед ними открылась тянущаяся до горизонта степь.

Король хотел продолжать ехать и ночью, чтобы к утру быть в городе, но поднялся ветер, началась метель, и им пришлось остановиться на краю леса и разбить последний бивуак. Король решил в эту ночь не сомкнуть глаз, но как только он лег, силы оставили его, и сон мгновенно завладел им.

Ему приснился город его ранней юности, и он сам, стоящий на городской площади, окруженный толпой горожан. Ближе к нему стояли такие же юноши, как и он сам, а немного поодаль - пожилые люди, и все они улыбались ему, и в глазах их была любовь и доверие. А сам он собирался в дорогу и что-то горячо говорил им, кажется, клялся, что сразу же, как только выполнит доверенное ему дело, вернется в свой родной город и никогда больше не покинет его. И он чувствовал, что все безгранично верят ему и полагаются на него...

А потом он увидел себя в другом месте и среди других людей. Он начал, как бы обманывая себя, откладывать выполнение обещаний, пока совсем не забыл и про город, и про друзей, которых оставил там. И только какое-то тоскливое чувство постоянно жило в нем. И когда прошло уже, наверное, очень много времени, чувство это прорвалось и, отбросив на много лет назад, сразу заставило все вспомнить. Он понял, что, сам не зная, как и почему, он предал людей, которых любил, предал места, в которых родился, предал самого себя, и даже не знает, живы ли еще эти люди, которые, даже если бы и были живы, конечно, не захотели бы иметь с ним ничего общего. Мучительное чувство ничем уже неизгладимой вины разбудило короля среди ночи, и, проснувшись в своей походной палатке, под завывание вьюги он еще несколько мгновений ощущал только боль и рыдания, которые сотрясали его тело.

Однако постепенно чувство реальности вернулось к нему и принесло успокоение. Он подумал сначала, что сильно преувеличил степень своей вины, а затем ясно понял, что никакой вины не было вообще. На самом деле он не нарушил никакого обещания просто потому, что никогда никому не давал его. Более того, он и не мог давать никаких

обещаний, так как был увезен из города почти ребенком, согласно повелению своего дяди, заменившего ему умершего отца. Тем не менее, сделавшись самостоятельным, он не однажды намеревался посетить город, о котором всегда вспоминал с любовью, и серьезность и основательность причин, заставивших его несколько раз отказаться от этого намерения, были столь очевидны, что не оставляли места для подозрения в забвении и пренебрежении.

Король успокоился и стал прислушиваться к разгулявшейся снаружи вьюге, которая, как он теперь понял, была совсем не такой свирепой, как это показалось ему в минуту пробуждения, а наоборот, по-видимому, успокаивалась и затихала. Король стал думать о своем завтрашнем приезде в город: о том, что надо не забыть, следуя традиции, подняться на балкон ратуши, но что ноги его слишком слабы для того, чтобы преодолеть крутые лестничные ступени, и он едва ли сможет сделать это без посторонней помощи. Он стал мысленно перебирать, кто из свиты сможет помочь ему. Потом он подумал, что зрение его сильно сдало, и он не сможет разглядеть людей, собравшихся на площади. Но все эти мысли не удручали короля, напротив, они настолько перенесли его в город, что ему стало казаться, что длинное и утомительное путешествие его закончено, и он спокойно забылся. Рассвет застал короля готовым к выходу. Он стоял на краю леса, вглядываясь в расстилающуюся перед ним, покрытую снегом, равнину. Несколько минут стоял он, как бы задумавшись и собираясь с силами, а затем, повернувшись к ожидавшей его свите, дал сигнал к выступлению.

Бесконечно длинна была темная зимняя ночь, и когда утлый свет забрезжил над городом, то некому было поднять глаза навстречу ему, некому было ни разжечь огонь, ни распахнуть дверь, некому было ни помолиться, ни проклясть этот день.

Никто больше ни на что не надеялся и ни во что не верил, никто не суетился и не ждал исхода этой суеты, никто не готовился встречать какого-то короля, которого, возможно, никогда и не существовало на свете, никто не был больше ни молод, ни стар, ни весел и ни печален, потому что все жители города были недвижимы, безжизненны и мертвы.

А совсем недалеко от города, всего в одном переходе, снег заметал последнюю стоянку короля. И вьюга намела уже сугробы, из которых торчали то ноги, то бороды старых рыцарей королевской свиты. А поодаль от них, на краю леса, в таком же сугробе лежал мертвый король, так никогда и не увидевший город, в котором родился. Снег продолжал идти все сильнее, и утлый свет, едва забрезжив, сменился ночью, и тьма объяла мир, и все огни, все огни были погашены на земле в этот час, и только один, невидимый никем огонь, горел высоко в небе.

ВОКРУГ ЧАЙНОГО СТОЛА

Виктор Николаевич

20. IX. 88

Сегодня десять лет, как не стало Семена. Я пришел на следующий день в палату, где он лежал, и нянечка, тетя Маша рассказала мне, как все было. Он попросил ее поставить горчичник, сказал, что побаливает сердце.

Она принесла, хотела ставить, а он ей говорит: "А вы знаете, как будто все прошло, может, не надо?" - "Ну, прошло и, слава богу, стало быть, и не надо". Отвернулась, а он в тот же момент захрипел... Бедный мой друг. Боже мой, как все нелепо. Даже через десять лет не могу представить, что его больше нет. Какой был светлый человек, не то что я - ничтожество.

На Ваганьковском встретил Галю. До чего она все-таки мила.

А Кирилл не пришел. Может быть, он испытывает какую-то неловкость. Все-таки как-никак... Она сказала, что его вызвали на собеседование в райком. Во Францию собирается. Все куда-то сейчас едут. Семен ведь знал немного французский. Любил вставлять всякие mot. Этот их приятель, Барен, тоже любит пересыпать свою вычурную речь иностранными словечками. Только Семен это делал мягко, иронично, а этот - с какой-то шутовской бравадой. Тоже, кажется, куда-то собирается. В Средиземноморский круиз. Почему он меня так раздражает? Наверное, потому что я ему завидую. Он - яркий, остроумный человек, а я - так - сама бесцветность.

Кирилл, надо сказать, за эти десять лет как-то потускнел: раздался малость, полысел... Меня это радует, что ль? Скотина ты, Витька. Старая, подслеповатая скотина. Даже на кладбище пытался за Галей ухаживать. Смех, да и только. Десять лет, десять лет... Бедный мой друг.

Галя

20. IX. 88

Сегодня ходила к Семену. Привела там все в порядок, посадила цветочки. Надпись на камне стала очень неразборчивой, надо бы подправить. Встретила Виктора Николаевича. Какой он все-таки симпатичный, добрый человек. Чудной немножко. Семен, бывало, тоже говорил: "Милый, но ужасно смешной"... Потом была у врача. Все без толку. Говорят, в Израиле нашли какое-то средство. Туда что ли податься?

Забегала к Кате. Ей привезли сапоги, но они ей малы, она мне позвонила, но мне тоже малы. Катя ведь меня сильно моложе, а мальчику ее уже два с половиной года. Такая прелесть. Пока мы с ней на кухне болтали, он в комнате "работал". Потом приходит, говорит: "Мама, я все обоссал". Она за голову схватилась: "Откуда он такие слова знает? Это все во дворе, это все соседский Дениска, я просто не знаю, как его отвадить, от него еще и не таких слов понаберется". Побежала посмотреть, как это выглядит, приходит, хохочет, оказывается: "Разбросал". Я потом в подъезде ревела. В каждой семье свои несчастья. Все, кажется, могло бы быть так хорошо. За что мне такая судьба?

Кирилл рассказывал, как ему в райкоме нервы потрепали. Безобразие, все-таки. Все твердят без конца: перестройка, гласность. И тут же такое средневековье. Хорошо бы его пустили во Францию. Развеялся бы. А то стал такой желчный, раздражительный. Все: терпеть не могу, терпеть не могу. Тоже, конечно, переживает.

Олег Моисеевич в какой-то круиз собирается. Этому все ни по чем. Вот разведусь с Кириллом, отобью Олега Моисеевича у его жены, уеду в Израиль, заведу младенца... Да, да, да, ничего этого не будет.

Может быть, я напрасно сапоги не взяла, не так уж они мне малы, зато очень элегантные.

Кирилл

20. IX. 88

Итак, мою характеристику во Францию утвердили. Произошло это так. В райком было велено явиться к четырем часам в сопровождении секретаря парторганизации, коим у нас является полная рыжеволосая дама Антонина Михайловна, существо бестолковое, суетливое, но вполне добродушное. Поначалу, когда я сообщил ей о предстоящем, она заволновалась, сказала, что в этот день никак не может, поскольку ей надо готовиться к собранию, писать протокол, делать еще что-то, и только, получив заверение, что я отвезу ее на машине, поохав, согласилась, выговорив, что обратно до метро я ее тоже доведу. "Ну, а если все пройдет благополучно - в чем я почти не сомневаюсь - то и до дома", - на том и сговорились.

Прибыв в райком без десяти четыре, мы обнаружили, что на первом этаже, в узеньком коридорчике, этаким предбанничке, перед обитой дерматином дверью собралось уже человек пятнадцать, каждый со своей "мамушкой" (или "папушкой"). Обстановка весьма

нервозная, как в школе перед экзаменом. Многие с книжечками, блокнотиками - листают, зубрят, ахают. Только и слышно: "А кто в Италии генеральный секретарь?" - "Вы читали сегодняшнюю "Правду"?" - "Что там в Марокко?" - "Да про это не спросят". - "А про что?" "Господи, - думаю, - до чего же дошло, во что же людей превратили! Что это - дети малые или братья меньшие, может, ошейник отстегнут и побегать позволят? Сколько же это продолжаться будет. И ведь самое-то страшное, что смирились все, принимают эту фантазмагорию, как должное, где привяжут, там и стоим. И я смирился, и я пытаюсь вспомнить, кто во Франции самый главный-то?"

Напомнило мне это, как в студенческие годы еду я в троллейбусе на экзамен - то ли по истории, то ли еще по чему-то такому, - и едет со мной девочка из нашей группы, круглая отличница и жуткая неврастеничка. А дело было весной незабываемого 1953 года. И она мне говорит: "Слушай, Кирилл, у товарища Сталина в первые дни болезни какая температура была? А пульс какой?" - "Не знаю, - говорю, - а разве это могут спросить?" - "Все могут спросить!" А у лучшего друга советских студентов волею Всевышнего в те дни было уже чейнстоксово дыхание. Так-то.

- Слушайте, - говорю, - Антонина Михайловна, мы тут по списку седьмые, давайте сходим в буфет перекусим что-нибудь.

- Как бы не пропустить, - говорит, - давайте подождем пока начнется.

- Ну, давайте подождем. В это время начали появляться члены комиссии: шествуют не спеша, тоже, видимо, из буфета, между собой переговариваются. Люди, в основном, пожилые, так скажем, бухгалтерского вида. Прошли и дверь за собой закрыли. Потом еще какой-то более молодой товарищ появился, и, когда за ним закрылась дверь, по коридорчику шепоток пронесся, и многие переглянулись многозначительно. После этого вскоре дверь приоткрылась, и первого абитуриента попросили зайти.

Тут мы с Антониной Михайловной отправились в буфет, где провели следующие полчаса (в очереди, разумеется). Когда уже подходили, я у нее спрашиваю: "Антонина Михайловна, а сколько во Франции партий?" Она руками замахала: "Ой, вы мне такие вопросы не задавайте, я никогда этого запомнить не могу. Вы, Кирилл, ведь все сами знаете, вы уж не в первый раз эту комиссию-то проходите". - "Да, - говорю, - комиссию-то не в первый раз, только толку-то - чуть". - "Нет, нет, - говорит, - я почему-то уверена, что в этот раз вас обязательно пустят, сейчас все-таки намного легче стало. А потом, вы знаете, я слышала - это уж шепотом, почти мне в ухо, - что скоро эти комиссии вообще отменят. Будет партбюро по месту работы характеристику утверждать, и все". - "Ну, дай-то бог, - говорю, - посмотрим, вам с колбасой или с сыром?"

Действительно, комиссию эту я проходил и раньше. И не раз: и когда в Штаты приглашение получил, и когда в Лондон на стажировку оформлялся, и надо сказать, "на этом этапе" все проходило достаточно гладко: меня рекомендовали, но за десять дней до поездки я неизменно слышал одно и то же: "К сожалению, ваши документы не пришли". Куда не пришли? Откуда не пришли? Я уже не говорю о том, почему не пришли? Не пришли - и все тут. Дороги размыло.

Когда мы вернулись в предбанничек, то атмосфера там была уже довольно накаленная. Шел пятый номер. Это была, как я понял из разговоров, группа профсоюза текстильных работников, оформлявшаяся в поездку в Грецию, и состоявшая, в основном, из дам.

Напротив дерматиновой двери в истерике сидела и всхлипывала какая-то блондинка.

- Свиньи, - говорила она, - как им не стыдно такие вопросы задавать? Почему он со мной не живет? Почему я знаю, почему не живет. Жена у него другая, вот почему. Им-то какое дело!

Ее подруга, видимо, более удачливая, пыталась ее утешать:

- Ты, главное, не взвинчивай себя, не надо. Плевать на них. Ведь они же тебе не отказали. Поговори с секретарем парторганизации. Ну, хочешь, вместе сходим.

- Да ничего я не хочу. Пусть просят, не поеду никуда. Через такое унижение проходить.

- Ну, не ты одна, с Мариной вот еще хуже обошлись.

Немного поодаль стояла, видимо, та, о которой шла речь, тоже не состоявшаяся гречанка, и выражение лица у нее было такое мрачное и решительное, что было ясно - встретить она кого-нибудь из членов этой комиссии в темном переулке, а может, и не в темном переулке, а среди бела дня, прилюдно, и не кого-нибудь, а разом всю комиссию - несдобровать им, несдобровать, не взирая на то, что делали они это не по злобе, ничего лично против нее не имея, и, как бывало во все времена, могли оправдаться и на людском и на страшном суде одной и той же неизбывной формулой - "мы выполняли приказ". Я взглянул на Антонину Михайловну. Лицо ее выражало отрешенность и скорбь. Видимо, и ей была небезразлична эта человеческая комедия, и она думала, что если меня, чего доброго, не пустят, то тащить ее домой на метро с двумя пересадками, в самый час пик... "за что, за что все это?"

Шестым номером шла группа каких-то деловых молодых людей.

Все они были с дипломатами, все оживленные, раскованные, ясно было, что за дерматиновой дверью у них проблем не было, и они скрывались за ней, как будто лишь для того, чтобы обменяться с комиссией приветствием или парой шуток, и выходя, продолжали вести друг с другом разговор, прерванный лишь на минуту. Когда кто-то из вновь прибывших спросил у одного из них, какие задают вопросы, то тот посмотрел на него так удивленно и ошалело, как смотрит человек, идущий с набитыми сумками из продуктового или овощного, когда его останавливают и спрашивают, нет ли у него лишнего билетика.

Последний молодой человек вышел из-за двери, и я понял, что час пробил.

Мы сунулись, но были остановлены строгим: "Подождите, вас пригласят". Еще несколько минут ожидания, затем дверь приоткрылась, из-за нее раздалось: "Следующие, пожалуйста", - и я оказался в комнате, где бывал и раньше, и увидел длинный стол, по обеим сторонам которого сидели те, которым было суждено решить, увижу ли я Елисейские поля или хватит с меня и Октябрьского поля.

Меня пригласили сесть у торца стола напротив председательствующего, лицо которого мне было знакомо. По своему виду этот человек мог вполне сойти за завуча в какой-нибудь третьеразрядной школе, настолько привыкшего наставлять, отчитывать и поучать ленивых оболтусов, которые, тем не менее, были все-таки его подопечными, что выражение брезгливой снисходительности почти не сходило с его лица. Я хорошо себе представляю, как, сняв очки и пытаясь придать голосу и виду своему выражение спокойной рассудительности, он "вынимал мозги" у гречанок. "Ну хорошо, вот вы рветесь в Грецию, хотите увидеть Афины... А что, у нас в стране вы уже все объездили, здесь вам уже смотреть нечего? Вот, например, на Байкале вы были? А в Бухаре?" Он надел очки и без всякого выражения стал зачитывать мою характеристику. Как только он кончил, заговорила Антонина Михайловна, которая очень волновалась и поглядывала в записочку: "...1944 года рождения... в Институте с такого-то года... ведет большую общественную работу... показал себя, как..." Я начал разглядывать лица сидевших за столом. Справа от меня - черненький молодой человек, которому явно все это "до лампочки"; рядом с ним - пожилой грузный мужчина, пиджак обильно украшен орденами, в лице его почудилась мне некая доброжелательность, и я решил, что когда настанет мой черед держать ответ, то обращаться я буду именно к нему; далее - еще какой-то пожилой мужчина, разглядеть которого я не успел, так как воображение и внимание мое поглотил тот, кто сидел слева. Ведь это именно при его появлении в предбанничке пробежал уважительный шепоток, ведь это он среди всех присутствующих был власть имущим, а не книжником и представителем общественных организаций. Лик его не выражал ничего.

- Какие вопросы будут к товарищу? - промолвил председатель. Возникла пауза. "Значит, вы едете по научной линии, - произнес тот, которого я не успел разглядеть толком, - ну, а в чем, собственно говоря, эта ваша научная работа состоять-то будет?" "Таких бы

вопросов побольше", - подумал я и пустился в обстоятельное описание экспериментов, которые мы собирались поставить с французскими коллегами. Осветив первый раздел работы, я на секунду остановился, что было с моей стороны несомненной оплошностью, которой председательствующий не замедлил воспользоваться.

- Ну, хорошо, - сказал он, - с наукой понятно, но вот ваше общественное лицо нам как-то не вполне ясно. Вот товарищ, которая вас представляла, сказала, и в характеристике написано: "большая общественная работа". Но не понятно, какая именно, большая работа?

- Я - член редколлегии стенной газеты.

Председательствующий сделал удивленное лицо:

- И это - все? Это и есть большая общественная работа?

- Он у нас такие хорошие заметки пишет. У него литературные способности, - лепетала Антонина Михайловна.

- Да это-то на здоровье. Мы ничего против не имеем, только это не называется "большая общественная работа".

Председатель поднял глаза на остальных членов комиссии. Все согласно закивали: и тот, которому "до лампочки", и "доброжелатель", и тот, которого не разглядел... и только тот, что слева, не кивнул - ничто не переменилось ни в позе, ни в лице его. Так застывший на скале беркут не снисходит до того, чтобы вертеть головой, когда бесшумно появляется из-за уступа горный козел или с грохотом сходит с соседнего склона лавина. Все замечает он, ничто не ускользает от его внимания, зоркий и неподвижный, он ждет своего часа, своего мгновения.

- Он у нас еще разовые поручения выполняет. Вот, например, на прошлой неделе...

- Нет, это несерьезно, - безапелляционно сказал председатель. Наступила отвратительная пауза. Я мысленно простался с Парижем, как вдруг "доброжелатель", о котором я уже и думать забыл (о, маловерный!) бросил мне спасательный круг:

- Ну, я думаю, товарищ учтет наше пожелание усилить, так сказать, эту сторону дела.

- Конечно, конечно, - засуетился мой Вергилий, - обязательно, завтра же.

- Других замечаний нет? - спросил председатель, брезгливо поморщившись. -

Рекомендуем.

Я думал, что он плюнет, но он этого не сделал. Через мгновение мы были уже в предбанничке.

- Ну, видите, я же говорила, я же говорила, - щебетала Антонина Михайловна. - И вы молодец, Кирилл, очень хорошо осветили научную сторону. Я считаю, что это сыграло большую роль.

- Да, - думаю, - сыграло это роль, как же.

- Ну, а насчет общественной работы, нам, действительно, надо будет подумать. Здесь они правы.

Ко мне подошла какая-то взволнованная девушка:

- Извините, что вас спрашивали?

И тут вдруг, стыдно сказать, я ощутил превосходство, превосходство над теми, кому было уже не суждено, к кому судьба повернулась спиной, кого оттолкнула безжалостно и несправедливо...

"А так ли уж несправедливо? Может, и впрямь было за что? Меня же вот никто не оттолкнул, меня же пустили". И в резонанс этому поднялось нечто совсем уж страшное: "Раз арестовали, значит, было за что. У нас просто так никого не арестовывают. Меня же вот..."

- Вас же вот и в Штаты приглашали и в Англию. Теперь, наверное, поедете, раз уж пустили, - услышал я подле себя знакомый голос. Антонина Михайловна явно рассчитывала, что я доведу ее до дома и имела, скажем прямо, на то все основания. Я бросил последний взгляд на дверь, за которой разбиваются сердца, и в следующий момент мы были на улице.

Виктор Николаевич

22. X. 88

Одному не устаю дивиться: как таких идиотов, как я, еще земля носит, как меня еще люди принимать соглашаются. Ну что за чепуха такая, что за мерзость!

Пошел вчера вечером к Гале и Кириллу. Там у них еще человека четыре гостей было.

Поначалу все шло удачно. Как и решил, сразу же начал говорить. Рассказал историю про то, как меня в местком выбирали. Привлек общее внимание: все закивали, заулыбались.

"Ну, - думаю, - держись, не теряй темп. Расскажи еще что-нибудь, главное - не молчи".

Галя ко мне подседа (Господи! До чего она все-таки хороша), и с ней я разговаривал тоже вполне нормально, как положено старому приятелю, другу ее бывшего мужа.

И тут на горе мне явился этот Олег Моисеевич. И все. И сразу я как будто захлопнулся.

Держится он так уверенно, развязно. Хоть и э-кает через каждые два слова, но говорит так складно, изящно. Все от меня сразу отвернулись, стали его слушать. Поначалу я пытался еще в разговор встрять, но как-то неуверенно, бесцветно. Потом и совсем отключился.

Ничего не мог с собой сделать. Опять это ощущение пришло, что я - ничтожество, что не место мне рядом с такими блестящими людьми. И Кирилл сразу как-то ожил (меня-то он, по-моему, только из вежливости терпит, только чтобы Гале удовольствие доставить), начал с Бареном про буддизм говорить. Да так свободно, с таким знанием дела. И этот молоденький мальчик, который поначалу, видимо, ждал, что я что-нибудь умное скажу, тоже все пытался в разговор включиться. Галя с женой Барена какие-то свои разговоры вела, так что я совсем один остался. Сижу как чучело, делаю вид, что угощением наслаждаюсь. А сам только и думаю: "Ну что я за идиот, ну что я за идиот?! Ну не молчи, ну скажи что-нибудь". Потом слышу, Галя говорит:

- Вот Виктора Николаевича как приятно угощать. А от вас всех что толку, только языком мелете. Олег Моисеевич, где ваша чашка?

Эта реплика мне показалась спасательным кругом.

- Ой, - говорю, - что-то я совсем интеллектуально опустился за последнее время, даже участия в умных разговорах принять не могу.

Кирилл рукой махнул - есть, о чем печалиться. А Галя улыбнулась мне и говорит:

- Да что толку в этих умных разговорах. Мы вас и такого любим.

Что значит "и такого"? Значит, она согласна, что я совсем интеллектуально опустился.

Подала руку, чтобы потом толкнуть меня носом в мое ничтожество, - сразу мне опять не по себе стало.

И вдруг Барен ко мне обращается:

- А что, Виктор Николаевич, какого вы мнения об этом французском пианисте. Моя жена вот в полном восторге пришла с его концерта. Я-то сам, знаете, э-э-э ни бельмеса в этом не смыслю.

Вот оно, - думаю, - вот она возможность проявить себя, вот она возможность завладеть разговором. Ну, давай, ну, скажи, какого ты мнения. Ведь было же у тебя какое-то мнение.

Только что-то я не могу его вспомнить. Ну, не молчи же. Ну, скажи хоть что-нибудь.

И в это время слышу до меня доносится: "Какого я мнения? Какого я мнения? Да я и сам не знаю, какого я мнения". Ну такую глупость я даже от себя не ожидал. И в завершение скрепил эту глупость идиотской совершенно улыбкой.

Все! Больше тут и сказать нечего. После этого окончательно от меня все отвернулись, и в течение остального вечера никто больше ко мне не обращался, никто меня ни о чем не спрашивал.

Когда все встали, чтобы уходить про меня, кажется, даже забыли.

Кирилл

8. XI. 88

На улицу противно выйти. Куда ни помотришь: лысина и страшные глаза. "Прогневали мы Бога, согрешили, владыкою себя цареубийцу мы нарекли".

У Гали и Кирилла

25. II. 89

Олег Моисеевич обещал прийти к семи, но по обыкновению задержался и явился только в половине девятого, за что получил от Гали нагоняй и заверение, что в следующий раз его с ужином ждать не будут.

- Нет, ну, в самом деле, все холодное, все невкусное. Кирилл голодный и злится.

Олег Моисеевич театрально вскидывал руки и каялся, вскидывал и каялся. Кирилл улыбался и заверял, что, хотя и голодный, но совсем не злится, да и вообще никогда не стал бы злиться из-за таких пустяков.

- Ну что вы, мой дорогой, разве это - пустяки? Я прекрасно понимаю, что это - совсем не пустяки. Особенно для такого человека, как вы.

- Что вы имеете в виду?

- Э-э-э... я имею в виду, что люди, живущие утонченной интеллектуальной жизнью, обычно очень болезненно реагируют на любой дискомфорт. Казалось, они должны быть выше этого и замечать то не должны. Какое там! Проклятье, отключили горячую воду. Жизнь кончается! А голод, это уж вообще...

- Да, наверное, вы правы, не знаю, насколько я живу утонченной интеллектуальной жизнью, но если мне в моей научной деятельности случилось сделать какое-то открытие, так это то, что после обеда погода всегда резко улучшается.

- Ага, вот видите...

- Так, теперь вы еще здесь будете трепаться. Нет, я одна иду ужинать, а вы как хотите.

- Ну что вы, милая Галя, мы никогда такое не допустим. Да и вы не лишите нас удовольствия разделить с вами трапезу.

Разговор за столом вертелся вокруг поездок за границу, которые наконец-то начали становиться реальностью. Олег Моисеевич уже побывал в средиземноморском круизе, Кирилл всерьез собирался в Париж, кто-то из знакомых взял, да и остался в Штатах, а кого-то взяли и не пустили, причем без всяких объяснений - вот тебе и свобода передвижений.

- Если поедете во Францию, милый Кирилл, не примените заглянуть в Голландию. Это там рядом. Моя жена недавно вернулась из Голландии в полном восторге. Я забыл, что именно ее там поразило, но в полном восторге.

- Я недавно с удивлением узнала, - сказала Галя, - что Голландия - это совершенно плоская земля, выражаясь советским языком, "отбитая у моря"... У меня было о ней представление, в основном, по картинам Брейгеля. Я думала, там - горы ущелья, скалы... Олег Моисеевич, почему вы улыбаетесь?

- Я вспоминаю. В этой прогулочной группе, где мы познакомились с Кириллом была очень милая дама, Татьяна Васильевна ее звали, да, так вот у нее тоже были несколько, так сказать, трансформированные представления о ландшафте, правда, не голландском, а самом, что ни на есть подмосковном... Однажды, помню, мы гуляли где-то возле Усова, и ей привиделись горы со снежными вершинами. Ну, мы с Федором Петровичем ее в этом видении укрепили, и она, думаю, до сих пор убеждена, что Подмосковье окаймлено Московским хребтом с вершинами и ледниками.

- Издеваетесь над женщиной.

- Ах, милая Галя, ни в коей мере, ни в коей мере. Напротив. Мы помогаем натурам возвышенным и, э-э-э, одухотворенным, взору которых открыто... и так далее, материализовать их видения. В этом я и вижу задачу нас, людей посредственных и приземленных. Ведь вы согласитесь, что дурную услугу оказал бы вашему Брейгелю

какой-нибудь горе-реалист, сказавший ему под руку: "Да перекрестись, где ты видишь ущелье? Это же болото".

- Татьяна Васильевна - это Таточка?

- Да, да, это - Таточка.

- Я ее хорошо помню. Такая маленькая смешная женщина. А подруга у нее наоборот - полная, крупная, Нина, кажется, ее зовут. Помню, как они резвились в этом походе.

- Нина умерла.

- Умерла? От чего?

- У нее был неоперабельный рак. Э-э-э. Кажется, тот поход, в котором вы участвовали, был для нее последним.

- Да что вы говорите?! А мне они казались такими веселыми, довольными. Сам-то я был тогда в какой-то меланхолии и испытывал к ним, и к Нине этой в том числе, черную зависть. А оказывается...

- А почему ты был в меланхолии?

- Да что-то уж сейчас не помню.

- Наверное, обдумывали какой-нибудь рассказ. Э-э-э... Помните, как Пушкин в "Египетских ночах" описывает тяжелую участь литератора - стоит ему над чем-нибудь задуматься, как тут же следует пошлое восклицание: "Верно, что-нибудь сочиняете!"

- Олег Моисеевич, еще чайку? Вы, кстати говоря, как-то совсем нам ничего не рассказывали про ваше путешествие. Вы фотоаппарат брали? Слайды есть?

- Ах, милая Галя, за кого вы меня принимаете? При моей-то лени фотографировать. А потом... э-э-э... видите ли, я хотя, с вашего разрешения, и не христианин, но стараюсь не желать ближнему того, чего не выношу сам. В частности, вот эту пытку слайдами я переношу с трудом.

- Да, я тоже это терпеть не могу. Во-первых, я сразу же начинаю засыпать, потом меня утомляет проявлять деланный интерес: "А кто это справа от тебя? А что там на заднем плане?" А тебе в это время лапшу на уши вешают: "Это площадь перед музеем в Мадриде, видишь, там слева наш автобус... ах нет, подожди, подожди, это не Мадрид, это, кажется, Барселона". Да пропади оно пропадом.

- Да, да, милый Кирилл, я не умел выразить это так изящно, как вы, но мысль моя беспомощно и неповоротливо двигалась в том же направлении.

- Да ну вас, зануды старые, скучно слушать. Ты, Кирилл, между прочим, когда за мной ухаживал, не говорил через каждые два слова, что что-нибудь терпеть не можешь.

А сейчас - через каждые два слова?

- Почти.

- Ну, прости, прости. Я буду стараться развивать в себе терпимость. Это, действительно, дурно, я признаю.

- Ах, милый Кирилл, вы каетесь как-то по-дилетантски. Вам надо побывать у нас дома и послушать, как это делаю я. Я делаю это профессионально. Галя, почему вы уходите? Вы на нас обиделись?

- Да ну, вот еще. Мне надо позвонить. Сейчас вернусь.

- Э-э-э, милый Кирилл, пока Гали нет, она меня спросила про фотоаппарат, я вспомнил... в этой поездке была одна молоденькая, весьма миловидная и довольно... э-э-э...

простодушная дамочка. Она имела обыкновение обращаться ко мне с такой невинной просьбой - протягивала фотоаппарат и говорила: "Олег Моисеевич, если вас не затруднит, шелкните меня на паперти перед этим храмом". "Конечно, милочка, - отвечал я ей, - с удовольствием".

- Да, да... боже мой...

- О чем вы это?

- Да, да, это, конечно, очень забавная история, с этой дамочкой-фотографом... Но я просто никак не могу отделаться от мысли про Нину... Я-то в этом походе был в меланхолии потому, что все как раз очень запуталось... Ну, я имею в виду - Галя, ее бывший муж...

- Да я все прекрасно помню.

- Да ну?

- Конечно. Клава тогда вас привела в поход и сообщила нам по секрету, что вы в подавленном состоянии из-за сердечных неурядиц.

- Это верно, что было - то было... Что, Галочка? Нет, я не брал. Посмотри, они где-то на столе валялись.

- А что, милый Кирилл, вы, как говорится, не загорелись подмосковными походами?

- Нет, не загорелся. Более того, я, Олег Моисеевич, к сожалению, с возрастом обнаружил в себе существенный недостаток - я равнодушен к природе. Да, равнодушная природа...

Знаю, что это дурно, но поделаться с собой ничего не могу. Когда меня тащат на природу, я готов сказать, как Флобер: "Я недавно вышел из тебя и скоро вернусь назад насовсем, но пока я здесь - оставь меня в покое". Нашла? Ну, слава Богу. И потом я, честно говоря, терпеть не могу... Ой, ой, прости, действительно, через два слова.

- Да, ладно уж. Что ты теперь терпеть не можешь?

- Да ранние вставания, конечно.

- Ну, кто ж их любит. Если бы не Федор Петрович...

- Ну, почему же, вот Виктор Николаевич, например, очень любит рано вставать.

- Ну, Виктор Николаевич у вас - спортсмен, охотник... э-э-э... Кстати, как он?

- Что-то прихворнул.

- Да, он - славный человек, только э-э-э...

- Не вздумайте сказать про него что-нибудь плохое, Галя не позволяет.

- Конечно, не надо обижать Виктора Николаевича.

- Да упаси Бог, когда я про кого-нибудь говорил дурно? А потом, Виктор Николаевич, действительно, очень достойный человек, это сразу видно. Только уж очень он... э-э-э... занят собой.

Это, кстати, ему и самому мешает.

- Вы так находите?

- Да, несомненно. Если бы я посмел дать ему совет... э-э-э... Вы знаете, как всякий еврей, я люблю давать советы. С этой точки зрения я считаю, что я - вполне советский человек, даже более того... ДА, А ПОТОМ ЭТО ТЯГОСТНОЕ СОСТОЯНИЕ ВДРУГ КАК-ТО НЕОЖИДАННО ПРОШЛО... И это стремление всех поучать: ведь и Маркс и Фрейд... МЫ КУДА-ТО БЕЖАЛИ, КАЖЕТСЯ, НА ПОЕЗД ОПАЗДЫВАЛИ. МЕНЯ ЭТО ТОГДА ОЧЕНЬ ПОРАЗИЛО: ВЕДЬ, В СУЩНОСТИ, НИЧЕГО НЕ ПЕРЕМЕНИЛОСЬ... Э-э-э, перечтите Второзаконие... КАК ЭТА СТАНЦИЯ-ТО НАЗЫВАЕТСЯ? УСОВО, ЧТО ЛЬ? А РЯДОМ ТАМ ГДЕ-ТО БАРВИХА. В БАРВИХЕ ЖИЛ БЕРДЯЕВ В ТО ЛЕТО, КОГДА ЕГО ПОПРОСИЛИ ОТСЮДА В ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА ИЛИ, МОЖЕТ БЫТЬ, В СОРОК ВОСЕМЬ... с вашей точки зрения?

Поняв, что Олег Моисеевич его о чем-то спрашивает, Кирилл решил сделать нейтральный ход:

- Н-да, это верно.

- Что верно, Кирилл? Что вы имеете в виду? Ах, мой дорогой, ну признайтесь, что вы меня не слушали.

- Да нет, ну почему? Просто в последний момент я задумался.

- Это замечательно. Вы знаете, я с годами понял, что примерно восемьдесят процентов того, что мне говорят, не имеет абсолютно никакого значения, э-э-э, просто не стоит того, чтобы быть услышанным. Да я порой и, правда, не слышу, потому что слух мой, увы... Да, но самое интересное, что это, как ни странно, никак не сказывается на, так сказать, оживленности общения. Я понял, что большинство людей и не имеют в виду, чтобы их

слушали всерьез. Они говорят просто из потребности говорить, мало заботясь о том, слушают их или нет. Им важнее, так сказать, уважительная реакция собеседника: аханье, поддакивание, мотание головой... Ну, вот так, как вы сейчас пытались от меня отделаться... Я пришел к выводу, что можно успешно общаться, вообще ничего не слыша. Но я пошел еще дальше, я обратил взор свой на себя и понял, что, как правило, когда я говорю, а говорю я, как вы, мой друг, успели заметить, почти постоянно, я тоже не очень-то обеспокоен тем, слушают меня или нет. Так что вы были тысячу раз правы, когда, глядя на меня участливо и задумчиво, очень точно реагировали на ритм и интонации моей речи, киваньем головы и пожиманьем плеч, совершенно не слыша, что я говорю, и, придаваясь в это время светлым воспоминаниям или обдумывая очередной литературный шедевр. Ведь так, друг мой?

- Да нет. Я до такого совершенства еще не дошел. Я, может, сейчас и, правда, немного отвлекся, но обычно стараюсь серьезно относиться к тому, что мне говорят.

- Ах, Кирилл, вы, действительно, - удивительно серьезный человек, это в вас замечательно, но в то же время, я уверен, что это вам сильно мешает. Если бы вы позволили дать вам совет...

- Конечно, но вы же еще не дали совет Виктору Николаевичу.

- Ах, да, Виктор Николаевич. Я уж и забыл, в связи с чем я собирался дать ему совет... В сущности, он - добрый, безалаберный человек. Русским людям свойственна эта безалаберность. Помните, как писал Пушкин Соболевскому: "Безалаберный..." Помните?

- Да, помню, помню. Не волнуйтесь. И то, что дальше, тоже помню. Думаете, вы один - пушкинист?

- Да, уж я, действительно, пушкинист. Однажды жена одного моего приятеля меня чуть не побила за какие-то мои высказывания о Пушкине.

- Могу себе представить.

- Он был - великий человек. Э-э-э... Помните, как говорила подруга Анатоля Франса, мадам Арман де Кайаве, когда его секретарь, Жан Жак Бруссон, жаловался, что мэтр с ним плохо обращается?

- Нет, не помню и никогда ничего про это не знал. Я вообще Анатоля Франса терпеть не могу.

- Она говорила: "Что вы от него хотите? Он - великий человек, а в великих людях нет ничего человеческого". Кстати, сколько сейчас времени?

- Десять минут первого.

- Ах, друзья мои, в общении с вами время летит незаметно. Увы, моя подруга, она же и жена моя, говорит совсем иначе.

- Что же говорит ваша жена?

- Она говорит: "Представляю, до чего ты им осточертел со своей болтовней".

- Ну, неправда, не может она так говорить. Мы готовы вас слушать сколь угодно долго, только в следующий раз приходите, пожалуйста, пораньше, а то я в двенадцать часов уже совершенно засыпаю. По-моему, вы куртку Кирилла надеваете. (Это уже, разумеется, в прихожей.) Спускайтесь осторожно, там внизу свет не горит. Да не спешите, у вас еще уйма времени. Пока. Пока.

У Виктора Николаевича
февраль-89

Галя была не совсем точна, сказав, что Виктор Николаевич прибаливает. Дело обстояло несколько иначе. Виктор Николаевич не прибаливал, хотя и находился у себя дома на полубольничном режиме. Однако, обстоятельства, к этому приведшие, были такого свойства, что требуют некоторых пояснений. Если попытаться определить сущность Виктора Николаевича одним словом, то можно сказать, что был он чудак. Помните, такое русское словечко - чудак.

- Чудак ты, Витька, что тебе не радоваться жизни?! Если не тебе, то кому же?

И Ширу говорил: "Такая, вроде, прекрасная жизнь". Вот, вот, и тем не менее... В дни, о которых повествуем, Виктору Николаевичу было 57 лет. Возраст, в котором Эммануил Кант написал "Критику чистого разума", а Сведенборгу в таверне явился дух и сказал: "Зачем ты так много ешь? Не ешь так много". И начал диктовать мистические писания. Так вот с Виктором Николаевичем ничего такого не произошло. Напротив, в свои 57 лет он ощутил себя полностью у разбитого корыта.

Нельзя сказать, что ощущение это было ему вновь. В течение жизни оно возникало у него много раз, но с такой остротой охватило впервые.

У разбитого корыта - что бы это могло значить? Известно, например: "У старого Пимена", или "У трех мушкетеров", или "У волка и красной шапочки". А вот "У разбитого корыта..." Бывает же такое! И если корыто действительно разбито, то кто же в этом виноват?

На этот вопрос Виктор Николаевич всегда отвечал однозначно - он и только он. Не было в натуре его той счастливой способности, которая позволяет многим из нас обвинить во всех неприятностях других людей и, воскликнув: "Какие все кругом мерзавцы!" - почувствовать приятное облегчение.

Нет, увы, источником всех неудач полагал он всегда только самого себя. Только в своей природе чудилась ему какая-то порча, которая обрекает на провал все замыслы и планы. С провалом, правда, все было не так уж ясно, и многие окружавшие Виктора Николаевича считали, что не только никакого провала нет, но, наоборот, есть все основания считать жизнь его удачною и благополучною. Инженер-проектировщик, автор проектов ряда зданий, про которые говорили, что "смелость модерна сочетается с традиционностью и с неизменным чувством стиля, интуиции" и так далее. Но Виктор Николаевич как бы пропускал мимо ушей эти высказывания, которые ему казались неискренними и не соответствующими действительности. Он никогда не считал проектирование домов чем-то важным и соответствующим своей сути. В строительство он пошел не по своей воле, но по настоянию отца - известного московского архитектора, и, может быть, поэтому всю жизнь его преследовало ощущение, что в молодые годы ему навязали заниматься нелюбимым делом. И каких бы почестей и признаний не достигал Виктор Николаевич, ему все время казалось, что лезет он не на ту вершину.

Музыкант, поэт, бард, но уж не инженер-проектировщик, во всяком случае.

Что касается личной жизни, то, пожалуй, слово "провал" можно было бы употребить с большим основанием. "В третий раз разведенец и, дожив до седин..." Как чувствуется, что поэт восторгается своим героем, и мы вместе с поэтом готовы им восторгаться. Но в жизни... Как сказать женщине, с которой прожиты многие годы и которая тебе предана, что все кончено? (Для нее, конечно!) А птенчики? "Хороший у нас мальчик, правда?" А теперь ты этого хорошего мальчика когда увидишь-то? Ну и, конечно, сны и бессонницы, и пробуждения, и сознание вины, и подсознание вины, да и к тому же еще славянская душа, которая сумеет из всего этого сделать пиршество страданий. Вообще: "Бедняга, ты, Витька, что тебе с той женой не жилось? Хорошая, вроде, была женщина".

Да вся штука в том, что все три жены были хорошими и все три любили Виктора Николаевича, что, однако, не спасло ни их, ни его.

Виктор Николаевич был влюбчивый человек. Когда это в 17 лет - все улыбаются, когда в 35 - качают головами, а в 50 с лишним - хватаются за головы. Только, что толку? Виктор Николаевич и сам воспринимал свои приступы влюбленности, как катастрофы, но сделать с собой ничего не мог. Каждый следующий раз ему казалось, что это уже окончательно, и там, где другой мужчина ограничился бы романом, он разводился, женился и пытался наладить семейную жизнь.

Десять лет назад, когда он навещал в больнице Ширу, рушился его второй брак, от которого у него была большая девочка, и в душе его уже бушевал пламень страсти к той, которой суждено было стать его третьей избранницей, несколько лет спустя родившей ему

маленького хорошего мальчика. Казалось бы - самое время и остановиться. Но у новой жены, к несчастью, была подруга: существо легкое, беспечное, способное всему почувствовать, ничего не требуя взамен. А Виктору Николаевичу в это время так нужно было именно такое отношение: первая жена мучила его, разжигая чувство вины и упрекая в недостатке внимания к дочери, новая жена, которая еще недавно молилась на него, целиком ушла в заботу о сыне, и Виктор Николаевич только раздражал ее своими приставаниями и тоже недостатком внимания к ребенку. А подруга ни в чем не упрекала, ничего не требовала, а наоборот, погладила по горестно склоненной седеющей головке и сказала: "Да что вы, Виктор Николаевич, так убиваетесь из-за этих паршивых женщин, не стоят они того", - и позволила обнять себя и почувствовать мужчиной, которым можно гордиться и восторгаться. "Но для первой же юбки он порвет повода и какие поступки совершит он тогда..." Вот Виктор Николаевич и насовершал поступков, да как же их и не совершать, когда "... и море, и Гомер...", а нам-то грешным где устоять. Только подруга, как прилетела, так и улетела, а Виктор Николаевич и остался у такого-то корыта, один в двухкомнатной квартирке с черно-белым телевизором и совмещенным санузлом, в котором бачок от унитаза постоянно ломался и издавал завывающие звуки, то ли призывая на помощь, то ли упрекая хозяина в нерадивости и угрожая потопом... Ох, уж эти мне бачки от советских унитазов!

И все-таки все было не так уж плохо. Время шло, и каждая из бывших его подруг примирилась со своим положением (а что им еще оставалось?). Каждая готова была видеть в Викторе Николаевиче эгоистичного ребенка, капризного и незащитного. Каждую согревала мысль, что хотя он и сукин сын, но по-человечески его можно и пожалеть, потому что попасть в лапы этой авантюристки (имелась в виду следующая женщина) - это значит - так влипнуть... "Да, на этот раз Витенька попался. Бедняга. Так ему и надо!"

Наложённые поначалу запреты на свидания с детьми были отменены. Дочке двухкомнатная квартирка очень даже понравилась и она, подольстившись к папочке, уже пару раз выпроваживала его на вечерок, чтобы повеселиться с друзьями. Маленький хороший мальчик при появлении отца кричал: "А что ты мне пинес?", а мама малыша говорила: "Не надо его к этому приучать, заходи в комнату, я тебя чем-нибудь покормлю, только сначала вымой руки".

Так что все, повторяю, было не так уж плохо, и в каком-то высшем смысле можно даже сказать, что к своим почти шестидесяти годам Виктор Николаевич достиг некоего жизненного равновесия, к которому подсознательно, может быть, и сам стремился. Все это так. Но живет-то человек не в "в высшем смысле", а в двухкомнатной квартирке, одинокий, с муками совести, с бессонными ночами, с ноющей болью в правом подреберье, да с этим проклятым бачком от унитаза, который - то ничего-ничего, а то - как заорет "уррр" и начнет гнать воду, грозя решить все проблемы бытия так, как их однажды уже решил Господь, когда грехи человеческие превысили долготерпение Его. В тот вечер, о котором повествуем, Виктор Николаевич пришел домой в отвратительном состоянии. Мама мальчика, отношения с которой последнее время потеплели, наговорила вдруг массу всяких резкостей, напомнила про испорченную жизнь, про сына, которому лучше уж никакого отца не нужно, чем такого вот - раз в неделю. Наверное, это был у нее просто приступ плохого настроения, но Виктор Николаевич воспринял этот разговор, как полную катастрофу. Придя домой, он попытался было приготовить себе какую-то еду, но все было противно, все валилось из рук, и он, механически пожевав что-то и не зная, что с собой делать дальше, включил телевизор и, почти не глядя на него, сел на стул.

Постепенно передача втянула его. Это была встреча с одним из известных московских бардов, песни которого Виктор Николаевич очень любил. Бард рассказывал о создании песен, о путешествиях по свету, о встречах с людьми, пел, читал стихи, отвечал на вопросы. Ответы были блестящими, рассказы - полны юмора, песни - замечательны, стихи

- меланхоличны. В зале стояло восхищение, которое не было немым: ему подпевали, ему аплодировали, им восхищались.

Виктор Николаевич смотрел не отрываясь. И чем удачнее был ответ барда, чем проникновеннее слово, сказанное кем-нибудь из его друзей, тем мрачнее становилось у него на душе. "Вот человек, который не зря живет эту жизнь. Вот он - когда-то изгой, диссидент, не согнувшийся, не отступивший, не спрятавший свой дар, но воплотивший его в стихи, мысли, песни. Вот он - объехавший мир, познавший дружбу, познавший славу. И вот я - ничтожество, способное только гадить жизнь другим... Зачем наплодил детей, когда ничего не можешь им дать... Пустое место... Гадина..."

Нельзя безнаказанно играть в такие игры, нельзя. Не знаем точно, что произошло в голове Виктора Николаевича. Знаем лишь, что в какой-то момент там возникло слово "хватит", возникло и стало повторяться ритмично и маниакально. И как будто уже не он говорил это слово, а оно диктовало ему: хватит, хватит, хватит.

Он пошел в спальню, на столике около кровати стоял стакан на четверть наполненный водой, он высыпал в него все снотворные таблетки, поболтал и выпил залпом. Таблетки застряли во рту, в горле, давая отвратительную горечь. Он пошел в кухню, налил в стакан воды и сделал еще большой глоток.

...Идиот, что ты делаешь?.. Хватит, хватит, хватит.

Он вернулся в спальню и повалился на кровать.

Дочка пришла минут через двадцать, открыла своим ключом дверь и, позвонив из кухни матери, сказала, смеясь: "Ну и дела тут. Телевизор орет, а папочка спит". Потом она хотела еще кому-то позвонить, но что-то ей показалось странным. А почему же, собственно, он спит, если телевизор орет?

Она прошла в спальню, увидела пустые упаковки от таблеток, увидела, в каком положении он спит, услышала хрип, и в следующий момент уже звонила матери совсем другим тоном и с совсем другими словами.

Ну а потом началось. "Скорая помощь", которая, на счастье, приехала довольно быстро; транспортировка к Склифосовскому; промывания; кровать в четырехместной палате; внимательный палатный врач; визит психиатра (Виктор Николаевич отрицал попытку самоубийства и говорил, что просто ужасно устал и хотел отоспаться). Передачи и визиты запрещены, поскольку в институте карантин, (и, слава Богу, что запрещены). И, наконец, выписка домой под наблюдение районного психиатра, с рекомендацией, по крайней мере, на какое-то время, переехать пожить к родственникам или пригласить кого-нибудь к себе. Ничего этого он делать, конечно, не стал.

Так что, повторяем, Галя была не совсем точна, сказав, что Виктор Николаевич прибалывает. Виктор Николаевич не прибалывал, он попытался наложить на себя руки. Но, слава Богу, все обошлось.

У Гали и Кирилла

5. III. 89

Наверное, пора кончать. Еще одна последняя сцена, и хватит.

Читатель, может быть, обратил внимание на то, что все начиналось разговорами вокруг чайного стола, все ими и кончается.

Автор не стремился к этому специально, так получилось. Может быть, в этом есть какая-то примета нашей московской жизни - ходим друг к другу в гости, пьем чай и болтаем. На западе немного иначе: там ходят в кафе и пьют вино или пиво.

Случайно получилось и то, что в начале и в конце вокруг чайного стола четыре человека: три мужчины и одна женщина. Все персонажи разные, кроме болтушки-Барена. Это, может быть, не случайно. Ведь из него течет поток слов. А на чем все зиждется?

Что нас, в конце концов, соединяет? Слова, слова...

Но это, так сказать, тоже к слову.

Итак, последняя сцена.

Галя чем-то занята на кухне, Кирилл ведет длинный телефонный разговор, время от времени давая жестами понять, что он и рад бы закончить, но на другом конце провода - иного мнения, Олег Моисеевич листает какую-то книжку, тоже жестами давая понять, что никакой надобности спешить нет и чтобы Кирилл говорил столько, сколько ему нужно, Виктор Николаевич сидит в другой комнате на диване и смотрит в окно.

Впрочем, куда бы ни смотрел Виктор Николаевич, он при этом всегда еще смотрит и в себя самого. Так скажем, один глаз - на улицу, на людей, на события, а другой - в то внутреннее помещение, где проходят и эти люди, и ты сам, и те чувства, которые возникают, и те обрывки мыслей, которыми все это сопровождается.

И вот сейчас, когда Виктор Николаевич сидит на диване и смотрит в окно, один глаз его не видит ничего удивительного: знакомая комната, полки книг, надвигающиеся мартовские сумерки; зато другой глаз отмечает нечто непривычное: во внутреннем помещении отсутствует одно чувство, которое было там всегда, которое, можно сказать, оттуда никогда и не выходило - презрение к себе. Он с этим чувством сросся, свыкся, не мыслил себя без него.

А сейчас его не было. Куда же оно делось? Может быть, сейчас вернется? Может быть. Может, и вернется, но сейчас его нет. А ведь на самом деле, были для этого чувства все основания. Как никогда были.

Ведь он же знал, или слышал, по крайней мере, что отравиться этим снотворным нельзя. Ведь он же знал, что дочка должна скоро прийти. Был, во всяком случае, такой разговор. Стало быть?.. А, да что в этом копать! Что было, то было. Не хочется думать, не хочется вспоминать. Все прошло. Тихо как-то внутри, и, слава Богу.

В комнату, продолжая листать книгу, вошел Олег Моисеевич:

- Э-э-э, милый Виктор Николаевич, я вижу вы медитируете.

- Я не думал, что это так называется.

- Говорят, что люди часто занимаются этим, сами того не подозревая. Я где-то читал, что есть три основные состояния души: мы думаем, чувствуем и медитируем. Кстати, как вы себя чувствуете?

- Да все нормально.

- Вы чем-то прибаловали?

- Да, притравился малость.

- Господи, при нашей пище это не мудрено. У меня дома тоже целый лазарет. Да и сам я как-то скверно себя чувствую. На работе какая-то чертовщина, прямо, хоть уходи, а куда - не понятно. Полоса, наверное, какая-то черная.

- Странно от вас это слышать, Олег Моисеевич. Я привык к тому, что вы всегда на подъеме, оптимистичны.

- Я - на подъеме? Ах, милый Виктор Николаевич, вы мало меня знаете. Я ведь, в сущности, очень унылый человек. Это я только так э-э-э хорохорюсь, а на самом деле мне часто бывает э-э-э совсем невесело.

- Вот уж не подумал бы. С чего это? Вы столько всего знаете, столького достигли.

- Что я знаю? Знаю то, что ничего не знаю? Чего я достиг? Все это - одни мыльные пузыри. Да я, в сущности, ничего и не стремился достигнуть. Я живу, и это уже главное достижение, рядом с ним все - пустяки. Может быть, правда, это не мое достижение, но какая разница. А что касается вообще достижений, то я заметил, что если что-то очень сильно хотеть, стремиться к этому и прикладывать массу усилий, то в конце концов что-то получается. Не совсем то, и не совсем тогда, но что-то в этом роде... Этим, наверное, и надо ограничиваться... Кстати, Виктор Николаевич, мы как-то тут говорили о вас... только лестное, разумеется, только лестное. Да, и я потом еще думал о вас. В сущности говоря, вы - замечательный человек, Виктор Николаевич. Вы сами, наверное, этого не подозреваете, но вы, действительно, - замечательный человек.

- Господи, твоя воля, чем же это?

- Вы знаете, вы, как никто, выдержаны в каком-то определенном стиле. В стиле, э-э-э, русского дворянства прошлого века. Или, по крайней мере, как мы его себе представляем по литературе. Э-э-э, знаете, этак с ленью, с муками совести, с копанием в себе, с неудовлетворенностью, с чувством вины, с этими, знаете, вышедшими из моды вечными проблемами.

- По-моему, вы перечислили просто ряд недостатков. - Почему недостатков? Наоборот, милый Виктор Николаевич, это как раз те качества, которые и делают нас людьми. И потом, вы, конечно, очень русский человек, хотите вы того или нет. И это-то и есть в вас самое замечательное. И еще, вы, конечно, это не цените, но вы - свободны, а это очень-очень важно. Так что, все хорошо! В сущности говоря, вы - счастливый человек, Виктор Николаевич! Разве вы этого не находите, а?

- Да, вот уж этого я, действительно, никогда не замечал.

- Ну что же, так бывает. Вы - счастливый человек, но сами этого не знаете и считаете себя несчастным. Стало быть, вы - несчастный счастливый человек, а? Ха-ха-ха-ха... В комнату вошел Кирилл, выбрасывая руки вперед и показывая, что он сейчас упадет на пол. За ним вошла Галя.

- Ну что, ты закончил свой бесконечный телефонный разговор? Я тогда на стол накрываю.

- Закончил... Больше я трубку не сниму. Будь проклят этот телефон! Заложником каким-то живешь.

- Да прямо уж - заложником. Сам без него жить не можешь. Доставай, пожалуйста, чашки, а то гости наши совсем истомились.

- Виноват, виноват. Нет, ну действительно, сегодня день уж совсем впустую прошел.

Утром мы ходили на встречу с этим кандидатом в депутаты, или как это сейчас называется? Галя меня повела. А потом, просто не переставая, звонит и звонит...

- А тут еще эти гости приперлись.

- Да ну что вы, Виктор Николаевич, побойтесь Бога. Наоборот, пользуясь слогом Олега Моисеевича, я как раз надеюсь компенсировать напрасно потраченную первую половину дня общением с людьми, столь достойными и замечательными.

- Ну, мы сделаем все от нас зависящее. А этот ваш кандидат? Кто он, откуда?

- Такой, вполне представительный мужчина: высокий, красивый. Гале, по-моему, очень понравился. Откуда? Из какого-то НИИ, кажется. Доктор наук, чем-то заведует. Мне, правда, не показалось, что он говорит что-то свое: так, модная демократическая фразеология, но вообще, вполне *comme il faut*.

- А как фамилия?

- Фамилия? Шут его знает, что-то забыл. Звучная какая-то. Трубецкой - не Трубецкой. Как, Галочка? А, да, да, Сперанский Петр Дмитриевич. Нет. Вот она все запомнила, Петр Андреевич.

- Петенька Сперанский! О, mon Dieu! Кто бы мог подумать...

- Он вам знаком?

- Да, конечно, мы когда-то вместе работали и довольно много общались. Ну и ну!

- Толковый человек?

- Э-э-э, видите ли, милый Кирилл, я бы не сказал, что толковость - это главное Петенькино качество. Хотя... э-э-э... в некоторых вопросах он разбирался недурно. Но дело даже не в этом... Вы знаете, черт возьми, меня это радует.

- Что радует?

- Если это движение поднимает наверх таких людей, как Петенька Сперанский, то оно не должно обернуться никакой трагедией, а это, в конце концов, самое главное.

- А чем же оно должно обернуться?

- Чем обернуться? Черт его знает. Чем все здесь у вас на Руси обрачивается? Балаганом каким-нибудь. Иногда это, правда, бывает кровавый балаган, но на этот раз, Бог даст, пронесет... Петенька Сперанский, Боже мой!

Галя сообщила, что она, не дождавись Кирилла, накрыла все сама, и мужчины, посмеиваясь и подталкивая друг друга, проследовали к чайному столу.